

**ЛОГИКА,
ПСИХОЛОГИЯ
И СЕМИОТИКА:
АСПЕКТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

НАУКОВА ДУМКА

АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ БЮРО
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ
ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ АН УССР

ЛОГИКА,
ПСИХОЛОГИЯ
И СЕМИОТИКА:
АСПЕКТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Сборник научных трудов

Логика, психология и семиотика: аспекты взаимодействия: Сб. науч. тр. / АН УССР. Ин-т философии; Республ. бюро методол. семинаров; Отв. ред. Б. А. Парахонский. — Киев: Наук. думка, 1990. — 160 с. ISBN 5-12-001696-0.

В сборнике рассматриваются возможности и перспективы методологического взаимодействия логики, психологии и семиотики. Анализируются возможности формализации психологических понятий и категорий, логико-семантического и структурно-номинативного моделирования психики. Раскрывается значение исследований высших форм психической жизни человека, роль знаковых структур в функционировании психики человека и мотивации его поведения. Особое внимание уделено практическим приложениям результатов логического моделирования психики.

Для научных работников, преподавателей вузов, лекторов, пропагандистов, слушателей методологических семинаров, студентов.

Ответственный редактор *Б. А. Парахонский*
Утверждено к печати ученым советом

Института философии АН УССР

Редакция философской и правовой литературы

Редактор *В. П. Камбурова*

Научное издание

ЛОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И СЕМИОТИКА: АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Сборник научных трудов

Художественный редактор *А. В. Косяк*
Технический редактор *С. Г. Максимова*
Корректоры *Л. М. Тищенко, В. И. Божок*

ИБ № 10823

Сдано в набор 27.10.89. Подп. в печ. 18.05.90. Формат 84×108/32. Бум. тип. № 2. Лит. гарн. Выс. печ. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отг. 8,61. Уч.-изд. л. 9,51. Тираж 1360. Заказ 3415. Цена 1 р. 90 к.

Издательство «Наукова думка». 252601 Киев 4,
ул. Репина, 3.

Львовская областная книжная типография.
290000. Львов, ул. Стефаника, 11.

Л 0301060000-233 26-90
M221(04)-90

ISBN 5-12-001696-0

© Институт философии АН УССР, 1990

ВВЕДЕНИЕ

Современное состояние наук, предметом которых является мыслительная деятельность, позволяет говорить о наметившихся тенденциях к интеграции и комплексному изучению общего объекта — мышления. Для определения перспективных направлений взаимодействия логики, психологии и семиотики, изучения конкретных аспектов их взаимоотношений Республиканское бюро методологических семинаров при президиуме АН УССР организует постоянно действующий научно-методологический семинар «Логика, психология и семиотика деятельности», заседания которого состоялись в Киеве (1985), Полтаве (1987) и Одессе (1988). Семинар призван содействовать развитию интегративных тенденций в таких областях науки, как логико-математическая психология, психолингвистика, психо-семантика, психосемиотика, когнитивные исследования и т. п., способствовать выяснению возможностей применения логических и семиотических средств анализа к решению проблем изучения психики, механизмов интеллектуальной активности человека, а также использованию результатов психологической науки для выдвижения новых проблем логики и семиотики.

Моделирование сложных психических явлений невозможно без применения существующих, хорошо разработанных, средств логического и семиотического анализа, без развития новых формальных языков и знаковых систем, в которых учитывались бы потребности психологической науки. Трудности, возникающие здесь, проистекают из-за отсутствия достаточно длительного опыта взаимодействия и нехватки теоретической культуры. Поэтому необходим глубокий философский поиск в области оснований наук о мышлении. Проследившая традицию антипсихологизма в логике и гносеологии, можно отметить, что становление

© Б. А. Парахонский, 1990

и все последующее развитие современных логико-методологических дисциплин происходило в условиях отмежевания от психологии. Речь могла идти лишь о некоторых эпизодах применения логико-математического аппарата для описания психических процессов (Ж. Пиаже). Однако в настоящее время изучение работы человеческого интеллекта требует переосмысления антипсихологических установок в логике и гносеологии.

В современных исследованиях выдвигаются идеи о том, что интенциональные логики открывают прежде неизведанные возможности формализации психологических понятий и категорий, логико-семантического моделирования психической деятельности (А. Т. Ишмуратов и др.). Важная роль в решении этих задач принадлежит логике практических рассуждений, в которой основными операторами выступают понятия естественного языка. С их помощью фиксируются психические процессы и состояния, формы взаимодействия людей между собой и т. п. Современная логика не только представляет формальные средства описания психических явлений, но благодаря конструктивному потенциалу семантики возможных миров создает предпосылки для разработки психологически возможных миров, т. е. таких моделей психики, которые в перспективе могут стать новыми важными средствами психической саморегуляции человека, новыми формами организации элементов его психики, складывающейся в процессе естественной и исторической эволюции. В таком случае антипсихологизм современной логики, можно полагать, относится лишь к такой психологии, которая занята описанием и объяснением психических явлений, тогда как глубинный психологизм логической концепции возможных миров проявляется в ее взаимодействии с конструктивной психологией, которая рассматривает психику человека как постоянно изменяющуюся и самообновляющуюся систему.

В этом контексте становится очевидной плодотворность разработок по описанию механизмов психики человека с помощью аппарата эпистемических и модальных логик, в частности, как это делает М. А. Гелашвили, представляя психологическое понятие установки в качестве функции, «аргументами» которой является потребность и ситуация, удовлетворяющая данную потребность, а ее «значением» — конкретный акт по-

ведения. В другом плане возможно связывать построение формальных моделей личностного знания с допущениями, вбирающими опыт психологии, философии, лингвистики, истории культуры и т. д., поскольку интерпретация личностных высказываний как пропозициональных установок апеллирует к связи «по содержанию» (И. А. Герасимова). Делаются попытки представить возможного индивида в качестве элемента субъективной реальности и обосновать введение субъективных факторов через иерархию ценностных установок личности. Это позволяет создать различные типы шкалирования психики (А. И. Субботин).

Взаимодействие логики и психологии можно рассматривать, находясь также на позициях психолога-экспериментатора, которому важно в первую очередь изучить особенности формирования логических операций в процессе становления человеческого интеллекта и формирования личности. В этих исследованиях находит свое продолжение перспектива, намеченная еще в работах Ж. Пиаже. Так, скажем, рассмотрение особенностей начального периода формирования категориальных структур сознания раскрывает онтогенетические предпосылки, связанные с развитием у детей раннего возраста представления о существовании и стабильности объектов реальности (Е. В. Субботский). Экспериментально-психологический анализ атрибуции существования мысленному образу объекта показывает, что основными детерминантами этого процесса являются особая сфера познания, уровень поведения, способ презентации объекта, заинтересованность в атрибутировании.

Вместе с тем изучение высших форм психической жизни человека средствами экспериментальной психологии ограничивается эмпирическим уровнем, что не позволяет зафиксировать сложные мотивационные структуры человеческого сознания. Рациональное содержание и механизм такого явления психики, как, например, воля, еще далеко не раскрыты. Интересным кажется предложение Г. Л. Тульчинского считать в качестве логического содержания воли программу достижения желаемого будущего или отказа от неприемлемого настоящего. Условием реализации воли в поступок иногда является единство истинности, целесообразности и реализуемости. Процессы формирования абстрактного мышления могут также связываться с объективизацией понятийных средств отображе-

ния реальности (С. С. Гусев). Этот процесс включает переход от координационного типа организации знаний к субординационному. Возникают различные системы индексации знаков, с помощью которых люди создают модели окружающей среды и самих себя.

Так или иначе формы культурного поведения человека обусловлены высшими структурами психики. В фокусе последних, по замечанию Л. С. Выготского, находится знак и способ его употребления. Эта позиция стимулирует широкое применение семиотических средств при анализе феноменов человеческой психики. Философско-методологическое обоснование взаимодействия семиотических исследований с логикой и психологией опирается на положение о том, что знак и знаковые системы глубоко укоренены в структурах человеческой психики начиная с первичного уровня биопсихических мотиваций действий, формирования ценностно-ориентационных схем сознания и кончая высшими формами разумной деятельности. Логика практических рассуждений ограничивается все же той сферой мотивации поведения, в которой мысль остается тождественной действию. Перспектива состоит в распространении форм логического моделирования психики на область, где мысль оказывается тождественной сообщению (процессы коммуникации), и ту область, в которой мысль оказывается тождественной самой себе, приобретает самоценность (сфера процессов рефлексии). На последнем уровне сама мысль становится поступком.

В этом русле возникает необходимость изучать логические структуры и каноны поведения, которые вырабатываются культурной традицией и фиксируются в культурных текстах. Сказанное относится к анализу юнговского понимания «архетипов» человеческой психики, их связи с глубинными структурами сознания и самосознания в контексте категорий жизни, смерти и бессмертия. Перспектива состоит в развитии методологических аспектов изучения архетипов на основе социально-исторического подхода к психике (А. С. Кирилук). Важен также и анализ прагматических функций знака, их использование при достижении взаимопонимания. Полное описание процессов понимания предполагает разработку не только логики истинности, но также логики искренности, логики доверия, веры. В этом плане недостаточными представляются и лингво-логические исследования, связанные с анализом

высказываний анонимного типа. Более близкой к реальности оказывается ситуация, когда человек «живет» в мире авторских высказываний, и задача состоит в поиске возможных путей перехода от анализа анонимных высказываний к неанонимным (Г Г Почепцов, мл.).

Осуществляемые контакты между представителями различных дисциплин — психологами, логиками, философами, лингвистами и др. — достаточно новы для научной практики в нашей республике. Обмен мнениями позволяет сделать вывод, что путь логического и семиотического исследования психики плодотворен и правомерен, тем более что в последнее время возрастает число исследований по компьютерному моделированию психической деятельности. Логические средства анализа понятий психологии могут быть использованы в исследовании психики при изучении знаковых средств деятельности интеллекта.

Б. А. Парахонский

Г. Л. Тульчинский

**1. Логика и действие:
практичны ли практические рассуждения?**

Рассматриваются возможности создания логики поступка, которая и есть логика практических рассуждений. Основная проблема такой логики — переход от мысли к действию, что связано с действием механизмов воли. Формализация последних становится возможной с учетом нормативно-ценностных аспектов поступка.

Соотношение и взаимосвязь разума и действия, рассуждения и поступка находится в центре внимания философии на протяжении всей ее истории. Достаточно в этой связи напомнить единство нравственных и логических построений стоиков и философов Древней Индии, попытку Спинозы «строго логически» обосновать этику, «Критику практического разума» И. Канта, попытки аналитической философии и «критического рационализма» выработать основания разумного поведения. Во всех этих построениях, пусть даже неявно, предполагается, что рассуждения могут предварять действия и существенно влиять на их реализацию.

В этом случае человеческий поступок становится понятным и объяснимым, если будет восстановлено рассуждение, приведшее к этому поступку, осуществлена реконструкция логических связей в таком практическом рассуждении¹. Его отличие от обычного — теоретического — рассуждения в том, что оно реализует переход не от истинных описаний в посылках к описаниям в заключении, а от оценочных, нормативных, предписывающих суждений, а также описаний — к необходимости определенных действий. Именно такую логическую структуру имеют рассуждения в методологии науки, технологии, эвристике, воспитании, юридической практике, управленческих решениях.

Впервые на особенность практических рассуждений

© Г. Л. Тульчинский, 1990

было указано Аристотелем, согласно которому, принятие хотя бы одной из практических посылок вынуждает к действию: из стремления и возможности (или их отсутствия) следует действие (или его отсутствие)². В аристотелевском понимании логика практического рассуждения по сути дела есть логика поведения или логика поступка, когда действия вытекают из представлений о целях и имеющихся средствах на основе представления об их логической связи.

К сожалению, сам Аристотель не дал детальной логической разработки теории практического рассуждения. В настоящее время, несмотря на обширную литературу по этой тематике, единство во взглядах на природу практического рассуждения в его интерпретациях отсутствует. Главные споры касаются вопроса о природе заключения. Согласно одной точке зрения это может быть действие, согласно другой — в лучшем случае — предписание к действию — не более³. В самом деле, если практическое рассуждение является рассуждением, то оно не выходит за рамки теоретического анализа, а его практичность связана с модальностями суждений, в него входящих. Но если оно практично в буквальном смысле, т. е. его заключением является непосредственное действие, то оно уже не есть рассуждение. И в том, и в другом случае само выражение «практическое рассуждение» выглядит метафорой на уровне нонсенса. В чем же заключается практичность практических рассуждений и возможна ли логика действия (поступка)?

В принципе, очевидно, можно говорить о трех логиках поступка. Во-первых, это внутренняя логика, логика мотивации как логика программирования действий. Ее задача — приведение в непротиворечивое соответствие целей и возможностей поступка. Выводом в такой логике, заключением рассуждения может быть оценка, норматив или предписание (запрет) какого-то действия. Такая логика фактически будет строиться на основе теоретической необходимости связи между составляющими мотивационной структуры. Возможна и чисто внешняя логика, устанавливающая физически необходимую связь между объективными составляющими поступка: его непосредственным и отдаленным результатом. Например, заключением в ней может быть установление, что дверь была открыта рукой именно этого человека.

Наибольший интерес, однако, представляет, оче-

видно, логика, связывающая внутренние и внешние составляющие поступка, прослеживающая необходимую связь между ними. Возможность внешней логики сомнений не вызывает — это не что иное, как возможность непротиворечивого описания некоторых объективных фактов, логической формализации некоторого объективного знания. Возможность чисто внутренней логики до сих пор иногда оспаривается в литературе на том основании, что логическое следование традиционно определяется в терминах истины, а суждения, содержащие оценки, нормы и предписания, не являются ни истинными, ни ложными. Поэтому обоснование выводов таких суждений предполагает якобы создание новой теории логического вывода, не использующей понятие истины⁴. Рассмотреть существо этих сомнений тем более важно, что за спорами о возможности единого логического анализа целей, оценок, норм, описаний и предписаний иногда забывают о вопросе логики действия в третьем, наиболее интересном случае.

Говоря о логике поступка и возможности ее построения, следует различать рассудительность и логическую рациональность⁵. Рассудительность — это характеристика действующего субъекта, выражающая его способность сознательно и логично планировать свои действия. Логическая же рациональность есть оценка самого действия с точки зрения его оптимального планирования, реализующего некоторые стандарты целостности и необходимой связи составляющих поступка. В этом смысле рассудительный человек не может поступать нерационально, но вполне может поступать рационально, не рассуждая. Примерами такого поведения могут служить действия опытного мастера, тренированного спортсмена, соблюдение разнообразных форм этикета и т. д.

Логический анализ такого произвольного поведения трудности не составляет, поскольку сводит логику поступка к внешней логике. Достаточно знать описание ситуации, попадая в которую субъект производит однозначные, predetermined действия автоматически.

В отличие от произвольного действия поступок, основанный на рассуждении, предполагает рефлексивную деятельность сознания, определенное размышление. Поэтому именно этот тип поведения будет интересовать нас в дальнейшем. Хотя следует отдавать

отчет в том, что такие произвольные поступки занимают незначительную часть человеческого поведения. В основном, человек действует непроизвольно. Рассудительность возникает тогда, когда перед личностью стоит задача сделать самостоятельный выбор, реализовать свою свободу воли, логически обосновать принимаемое решение.

По мнению большинства исследователей практических рассуждений, речь должна идти не о разработке некоей принципиально новой логической теории, а о развитии и синтезе стандартной логики, оперирующей описаниями, а также логики норм, предписаний и, возможно, эпистемической логики и логики времени. Такой подход можно назвать «синтаксическим», поскольку главная проблема с этой точки зрения заключается в установлении чисто формально-логического соответствия между представлениями о компонентах практического рассуждения. Поскольку установление такого соответствия предполагает описание этих компонентов в некотором языке, то в конечном счете синтаксический подход состоит в сведении всего разнообразия языковых выражений (норм, оценок, предписаний) к описанию. Даже заключением такого рассуждения является описание предписания — не более.

Пример реализации синтаксического подхода — исчисление имен действий, предложенное Г.-Х. фон Вригтом. Оно получается за счет переинтерпретации обычной логики высказываний: например, в случае предписаний, выражение «р» является истинным именем предписания, если обозначает выполнимое действие. Речь идет, таким образом, о нормах, целях и т. д. не как о специфических видах знания, а об их описаниях и именах — языковых выражениях, позволяющих говорить о них, но не о них самих. Такой методологический ход достаточно плодотворен — построено богатое разнообразие систем логики действия, логики норм, логики оценок, логики целей⁶, но все они — не более чем упражнения в логической технике, поскольку за рамки обычной стандартной логики фактически не выходят, трактуя оценку выражений исключительно в терминах их истинности или ложности. Поэтому такой подход по сути дела является тривиализацией практических рассуждений. Разумеется, на определенном уровне абстракции такой подход вполне оправдан, но он явно недостаточен, а абстракция, на которой он основан, — излишне сильна.

Совпадает с синтаксическим и подход, основанный на дополнении языка стандартной логики более богатыми выразительными средствами, например модальностями предпочтения, желания, возможности, необходимости и т. д.⁷ Дело в том, что такой модальный подход рано или поздно ставит вопрос о семантическом обосновании формально-логических схем вывода. Поэтому справедливым представляется мнение о необходимости замены трактовки логики как науки о получении истинных следствий из истинных посылок более широкой концентрацией, связанной с введением для практических рассуждений специальных аналогов истинности (и ложности) как соответствия, например, идеалам добра, целям субъекта, нормативным образцам и т. п.⁸ Такой семантический подход реализован в ряде работ, примерами которых могут служить «алгебра поступков» В. О. Лобовикова⁹ и «стереоскопическая семантика», предложенная автором данной статьи¹⁰. В обоих случаях речь идет о расширении класса семантических соответствий и оценок как установлении адекватности целям (целевая или нормативно-ценностная оценка), реальности (истинностная оценка), имеющимся средствам (оценка на реализуемость). Определение этих видов соответствия достаточно для обоснования внутренней логики поступка, т. е. логического анализа мотивационной структуры, программирующей целенаправленное сознательное действие.

Каждый из семантических аспектов (соответствий) может иметь несколько стадий формирования осознанной мотивации: формирование цели, установление принципиальной осуществимости цели, установление путей и средств реализации цели. Поэтому можно дать утвердительный ответ и на вопрос о возможности внутренней логики поступка. Она возможна и в синтаксическом, и в модальном варианте, которым семантический подход дает необходимое обоснование. При этом переход от представлений о целесообразности к представлениям о реализуемости подобен решению задачи, когда предполагается существование неизвестного (x), удовлетворяющего условиям, которые делают эти представления истинными. В этом случае решение задачи может быть ориентировано «на нахождение» — поиск объекта, соответствующего некоторому описанию, либо «на доказательство» — поиск непротиворечивого описания этого объекта. Логический же строй плана решения в обоих случаях один —

разрешение противоречия между возможным (идеальным) и действительным (реальным). Допущение о существовании цели (неизвестного) в случае установления непротиворечивости плана решения устанавливает и реальный статус неизвестного (цели). Тем самым логический анализ разворачивается как единство реального, необходимого и реализуемого в единой плоскости «как бы существующего».

Но возможна ли логика поступка в целом, интегрирующая его внутренний и внешний планы? Ведь именно на такую логику ориентировался Аристотель, поисками такой логики действия занимался и Гегель, согласно которому в практическом рассуждении из первой посылки — стремления субъекта к цели и второй посылки — определения необходимых средств — следует заключение — объективация цели в действии. Именно как «заключение действия» рассматривал идею В. И. Ленин, выделяя в ней две посылки — знание субъективной цели и объективных средств ее достижения и вывод — совпадение субъективного и объективного в практической деятельности.

Главная проблема такой логики — это основания и характер логического перехода от мысли к действию. Что обеспечивает действенность практических рассуждений? Очевидно, что наличие логически непротиворечивой программы действий не влечет с необходимостью ее реализацию. В психологии известен такой синдром, как акразия, когда человек, выработав план действий и даже приняв решение осуществить его, не может начать это осуществление. Поэтому очевидно, что данная проблема не является собственно логической, а связана с таким феноменом человеческой психики, как воля. Именно волевое усилие придает «практическому рассуждению» практичность, переводя его из плоскости сознания в действие.

Рассмотрение источников и природы воли — самостоятельная тема, выходящая за рамки данной статьи. Для нас же важен вопрос о возможности логической формализации волевого усилия. Такая формализация возможна, если будет найдено нечто общее обоим планам поступка: плану сознания и плану действия. В принципе, такая общая стихия имеется — это нормативно-ценностное содержание общественной практики. Волевое усилие разворачивается в плоскости не только реального, но и желаемого для субъекта. Поэтому необходимым условием его осуществле-

ния является синтез субъектом представлений о желаемом, должном и реальном, принятие им определенных ценностных нормативов и следование им в той же степени, что и естественным законам. Тем самым должное приобретает для субъекта характер столь же внесубъектной действительности, что и объективно существующее. Это условие М. Полани удачно назвал в своем анализе личностного знания «самоотдачей» личности¹¹. Речь идет именно о самоотдаче личности, ее сопричастности единству должного и реального, «правде-правде» и «правде-истине». В волевом поступке должное и реальное имеют для субъекта один и тот же статус существования, он действует так, как будто должное уже существует. Ситуация аналогична упоминавшейся природе решения задачи, когда неизвестное предполагается как бы существующим, и вопрос лишь в том, чтобы привести данные в связи и отношения, непротиворечащие этому существованию. Сказанное, разумеется, не отвечает на вопрос о природе воли, но, как представляется, проясняет возможность логического анализа волевого действия. Благодаря нормативно-ценностному синтезу, задающему единую предметную область внутреннего и внешнего планов поступка, такой логический анализ вполне реализуем в духе упомянутых синтаксического, модального и семантического подходов к логике «практических рассуждений».

Однако принципиальная возможность «логики поступка» выдвигает на передний план новые, не менее существенные проблемы. Прежде всего подобное сведение логики поступка к логическому анализу практических рассуждений лишает сам поступок рассудительности. В самом деле, логическая формализация устраняет проблему выбора — речь идет о линейном и однозначном дедуктивном выводе действий из представлений о целях. Фактически мы оказываемся перед дилеммой: предполагается либо сведение произвольного поступка, связанного с рассудительностью и практическими рассуждениями к произвольному, автоматическому действию, либо полное всеведение о действии всех факторов, детерминирующих действие, а в конечном счете — определенное богоподобие поступающего субъекта. Жесткая и однозначная логика поступка как бы смыкается с наиболее жесткой формой рационализма — лапласовским детерминизмом, допускающим жесткую и однозначную детерминацию.

Логика поступка выстраивает линейную зависимость, человеческих поступков от целей, норм, ценностей, знаний и т. п. — в этой линейности она также смыкается с лапласовским детерминизмом. И в том и в другом случае действия оказываются обратимыми по отношению к их детерминациям.

Как сведение произвольного поступка к непроизвольному, так и богоподобное всеведение и всемогущество лишают поступок главной его характеристики — ответственности. Поскольку снимается вопрос о выборе, а действия следуют строго дедуктивно в соответствии с правилами логики практических рассуждений, субъект не несет личной ответственности за свои действия.

В связи с изложенным представляется, что вопрос о возможности логики поступка глубже и труднее, чем вопрос о возможности логического вывода в практических рассуждениях. Моментом, затрудняющим представление о действительном характере и масштабе проблемы, как представляется, выступает излишне сильная абстракция о линейном характере поступка, его лапласовской детерминации. В то же время обыденная жизнь, практика управленческой, воспитательной работы, научно-технического и художественного творчества показывают, что человек сплошь и рядом действует в условиях острого дефицита знаний и времени на их приобретение, не предвидя всех возможных последствий своих действий, от ответственности за которые неполнота и дефицит знания не освобождают. Человеческий поступок — это ситуация неполноты знания и полноты ответственности в силу необратимости реально совершенного. Действуя на основе того или иного решения (обоснованного и не очень), человек создает новые реальности, которые необратимо сказываются на дальнейшем ходе событий. В этом плане человеческое поведение детерминировано, но непредсказуемо, что сближает человека как субъекта поступка с синергетическими системами.

Для функционирования таких систем характерна именно нелинейная детерминация, когда отдельная флуктуация, в результате действия усиливающей положительной обратной связи, приводит систему в неравновесное состояние, называемое в синергетике точкой бифуркации. О находящейся в этой точке системе принципиально невозможно сказать, в каком направлении пойдет ее дальнейшее развитие. Пройдя точку

бифуркации, система получает вполне определенное (хотя и не предсказуемое заранее) направление развития. В точке бифуркации случайные факторы нелинейно подталкивают к новому ходу развития. Он случаен в том смысле, что является одним из возможных. Но после того как этот путь реализован, в силу вступает жесткая и однозначная линейная детерминация, действующая до следующей бифуркации. Тем самым необходимость и случайность образуют диалектическое единство, взаимодополняя и взаимоподкрепляя друг друга¹².

Детальное рассмотрение синергетической модели поступка выходит за рамки данной статьи. Необходимо, однако, отметить, что она соответствует не только современным научным методологическим установкам, но и реальному положению дел. Человеческое поведение существенно бифуркационно, особенно в критической ситуации выбора (червивое мясо на камбузе может послужить толчком к революционному выступлению на флоте). Загадочные и малопонятные проявления спонтанности в поступках и социальном поведении в целом обуславливаются не тайными биологическими пружинами или генетической заданностью, а взаимодействием системы со средой в неравновесных условиях. Это свойственно психологии толпы и самой личности. В точке бифуркации человеческое поведение чувствительно к малейшим деталям обстоятельств, к малейшим импульсам и стимулам. Не случайно, будучи в ситуации выбора, человек нередко прибегает к жребию, ищет какие-то внешние знаки и сигналы, которые позволили бы ему начать действовать. В этом кроется причина интереса к гаданиям, испытаниям судьбы и т. д. Подобно камню на вершине скалы, которому достаточно любого толчка, дуновения ветра, чтобы скатиться в какую-то (хотя и вполне определенную) сторону, так и человеческий поступок детерминруется в конечном счете нелинейно. Хотя сделанный выбор и детерминирует действия, но случайность самого выбора принципиально неустранима.

Синергетическая модель поступка представляется чрезвычайно плодотворной. Помимо прочего, она позволяет выявить новые аспекты диалектики социальной культуры и личности в детерминации поведения. Как социальная культура, так и культура индивидуализированной личности оказывают друг на друга положительное воздействие. Поэтому и личность и

культура могут рассматриваться как взаимостимулирующие, взаимопредполагающие и взаимоусиливающие друг друга факторы. Аналогичное явление в химии названо автокатализом (автокаталитическая петля — в синергетике), когда получение определенного вещества предполагает использование некоторого его количества в самой реакции.

Как же соотносятся между собой нелинейно детерминированный объективный поступок и линейные связи между его составляющими в логике поступка? Практическое рассуждение не может линейно определять действие. В лучшем случае оно является одним из косвенных факторов, а не причиной, влекущей действие с необходимостью. Более того, само содержание и результаты практических рассуждений меняются в зависимости от прохождения поступком «точки бифуркации». Каждое создание «новых реалий» заставляет переосмысливать сделанное с помощью «поздних рационализаций». В результате поступки людей постфактум приобретают цели, которые ими даже не предполагались.

Такая поздняя рационализация делает линейным объективно нелинейный поступок — став необратимым после прохождения точки бифуркации, поступок стал и жестко детерминированным. В поздней рационализации все возможные альтернативы (равно возможные до точки бифуркации и в ней самой) отсекаются или показывается и убедительно объясняется, почему эти возможности оказались несостоятельными и реализованы не были. Постфактум действительно оказывается, что иначе и быть не могло. Воистину «все действительное разумно, а все разумное действительно»!

Однако без такого приписывания задним числом целей и других мотивов действие поступком не станет, а будет лишь голым фактом. Чтобы понять человеческое действие, всегда необходимо построить такую позднюю рационализацию, которая выглядела бы как практическое рассуждение субъекта, дающее представление об истинных мотивах его действий. Именно такие рационализации предпринимаются и при установлении юридической ответственности. В конечном счете человек отвечает не столько за свои действия и за их результаты, сколько за приписываемые ему практические рассуждения, за свои намерения, за свою логику поступка. Само понятие вменяемого дей-

ствия предполагает, что человек как существо разумное и рассудительное способно на такую рационализацию, ответственность за которую ему и вменяется.

Аналогично во многом и осмысление исторического процесса. Оно движется как бы вперед затылком: по мере пройденного прошлое видится иначе. М. М. Бахтин в этой связи различал в истории неповторимый поток событий, включая индивидуальную активность (*geschichtliche*) и его рациональную схематизацию (*historische*)¹³.

Поздними рационализациями являются и исследования по логике и методологии науки. Мотивации научной деятельности могут быть самыми различными, и в конечном счете не так уж важно, что именно двигало ученым (знаменитое «все сгодится» П. Фейерабенда). В дальнейшем научное сообщество все равно выстроит позднюю рационализацию в учебниках, лекционных курсах, придающих нелинейной бифуркационности научной деятельности однозначно линейный характер развития. В то же время нормативная логика и методология науки неопозитивизма и критического рационализма, ставящая впереди научной деятельности ее рациональную схематизацию в логических построениях, оказалась бесперспективной. В основе научных открытий лежат случайные наблюдения, зачастую — ошибочные рассуждения, но очень редко их источником являются дедуктивные заключения. Логика необходима при оценке и анализе готового знания.

Поздняя рационализация играет существенную роль в осмыслении человеком действительности не только в научном знании. Разновидностью ее является мифологическое и религиозное сознание, видящее в окружающей человека реальности поступки существ и сил, не доступных непосредственному наблюдению. Магия, ритуалы, жертвоприношения — все они, по сути, основаны на попытках с помощью практических рассуждений реконструировать цели высших существ и сил, предупредить их желания, удовлетворить их, одновременно тем самым возложить на них и ответственность за происходящее.

Итак, логика поступка — средство не регулирования человеческих поступков, а познания их, осмысления и интерпретации. Неправомерно считать, что поступки человека рационально и даже логически детерминированы в плане причинной необходимости действий и их результатов от субъективных намерений.

Рациональность поступка в том, что он объективно детерминирован, и человек способен осознать и осмыслить последствия своих действий. Возможности логической рационализации и уж тем более рассудительности существенно ограничены. Они связаны либо с поздней рационализацией (и возможно, оправдания) уже совершенного, либо с попытками программирования действия, которое, тем не менее, носит лишь вероятностный характер как по источнику, так и по итогу — реальные действия создают непредусмотренные новые реалии. Еще более неприятно создавать, что с помощью разума и логики человек может объяснить и оправдать практически любые свои действия и поступки. Тому, что Гегель называл хитростью разума, четкую и ясную нравственную оценку давал Ф. М. Достоевский, говоривший, что ум — подлец, потому как виляет.

Однако логика поступка, даже в таком ее понимании, дает человеку как социальному существу немало. Она способствует осмыслению нашего опыта, понимаемого как определенно рациональные поступки. Она дает нам представление о главном — о неустранимой и принципиальной ответственности за совершенные и совершаемые поступки, понимаемые как рациональные действия. Другими словами, используя выражение М. М. Бахтина, логика поступка конкретизирует содержание нашего «не-алиби в бытии».

Вригт Г.-Х. фон. Логико-философские исследования // Избр. тр. — М., 1986. — 595 с.; *Ишмурагов А. Т.* Логический анализ практических рассуждений (формализация психологических понятий). — Киев, 1987.

² *Аристотель.* Никомахова этика // Соч.: В 4 т. — М., 1983. — Т. 4. — С. 197.

³ *Ивин А. А.* Логика норм. — М., 1973. — 121 с.; *Ивин А. А.* Основания логики оценок. — М., 1970; *Practical reasoning.* — Oxford, 1978. — 202 p.

Ивин А. А. Логика норм; *Ивин А. А.* Основания логики оценок.

Гегель Г. В. Ф. Наука логики. — М., 1972. — Т. 3.

Вригт Г.-Х. фон. Логико-философские исследования // Избр. тр.; *Ивин А. А.* Логика норм; *Ивин А. А.* Основания логики оценок; *Ишмурагов А. Т.* Логический анализ практических рассуждений (формализация психологических понятий); а также: *Practical reasoning*; *Хилпинен Р.* Семантика императивов и деонтическая логика // Новое в зарубежной лингвистике. — М., 1986. — С. 300—317.

Ивин А. А. Логика норм.

Ивин А. А. Основания логики оценок. — С. 46.

Лобовиков В. О. Модальная логика оценок и норм с точки

зрения содержательной теории этики и права. — Красноярск, 1984. — 270 с.

¹⁰ *Тульчинский Г. Л.* Логика целевого управления // Рациональность, рассуждение, коммуникация. — Киев, 1987. — С. 100—110; *Тульчинский Г. Л.* Проблема осмысления действительности: Логико-философский анализ. — Л., 1986. — 177 с.

¹¹ *Полани М.* Личностное знание. — М., 1985. — 342 с.

¹² *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса. — М., 1986. — 432 с.

¹³ *Бахтин М. М.* К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник, 1984—1985. — М., 1986. — С. 80—160.

И. А. Герасимова

2. Психология познания и эпистемическая логика

Исходя из понимания задач эпистемической логики как исследования рассуждений о знании и на основании знаний анализируются особенности семантики эпистемических контекстов, связанные с позицией субъекта в мире и его собственной внутренней организацией.

Изучением интеллектуальной деятельности занимаются многие научные дисциплины. В каждой из них вырабатывается свой особый понятийный аппарат, и вполне естественно, что наблюдаемые при разном фокусе картины могут на первый взгляд не иметь ничего общего. Печально, что исследователи, за деревьями не видя леса, порой забывают о единстве и целостности изучаемой реальности. Часто приходится слышать, что в таком-то и таком-то случае нарушаются законы логики, однако, с точки зрения психологии (или лингвистики) данный ход мыслей вполне оправдан. При этом взору предстает некий свод строгих и жестких законов железной логики, которые, как выясняется, оказываются правилами древней старушки — классической логики с двумя истинностными значениями «истинно» и «ложно» — законами исключенного третьего, — непротиворечия, тождества и т. д. Было бы неправильно утверждать, что классическая логика верна или неверна, хороша или плоха. Она органично входит в состав интеллектуальных средств, но занимает там определенную нишу. Подчеркнем, что строгость вовсе не означает закостенелость, многообразие логических приемов и методов свидетельствует о гибкости человеческого мышления. Перед нами стоит дво-

© И. А. Герасимова, 1990

кая задача: во-первых, познакомиться с некоторыми идеями и принципами современных неклассических логик, а во-вторых, показать, что нет непроницаемого барьера между ними и результатами психологических исследований.

Сосредоточим внимание на одном из важнейших и перспективных разделов неклассической логики — эпистемической логике. Эпистемическая логика — отнюдь не экзотическая дисциплина. Ее появление и разработка вызваны стремлением понять, описать и создать приемлемые логические процедуры, используемые, если так можно выразиться, в естественной среде, т. е. в реальных процессах мыслительной деятельности. Если одной из основных задач логики в целом является изучение рассуждений, то эпистемическая логика занята исследованием рассуждений о знании и на основании знаний. Как обеспечить вывод истинного заключения из истинных посылок в условиях неполной информации, различной степени обоснованности и достоверности исходных данных, искренности или неискренности собеседника и т. д. — вот те вопросы, в которых стремится быть компетентной эпистемическая логика.

Одним из узловых понятий логической семантики является понятие истины, или, точнее, истинностного значения. Например, классическая логика оперирует двумя значениями — «истинно» и «ложно». Пусть p обозначает следующее высказывание: «Город Дарвин находится на севере Австралии». Взятое само по себе оно лишь описывает некоторый факт или положение дел и может быть ложным или истинным только когда он утверждается либо отрицается. В языке в случае положительного решения слово «утверждается» часто пропускается. Относительно p в данном примере можно сказать, что «истинно, что p ». Однако далеко не всегда можно с легкостью и уверенностью нечто оценить как истинное либо ложное. В языке мы находим многообразие познавательных оценок — «известно, что p », «есть мнение, что p », « N уверен, что p », «Саша полагает, узнав от Ирины, подслушавшей разговор Людмилы и Татьяны, что p ». Можно предположить семантический подход, при котором оценки типа «знает», «полагает» будут определяться посредством сложной структуры, образованной из простых значений «истинно» и «ложно». Попытаемся проделать эту процедуру. Для этого нам придется раскрыть мето-

дологическую стратегию построения моделей рассуждений о знании.

Особенности семантики эпистемических контекстов во многом определяются наличием в них сплава разнородных смысловых пластов. Уже при поверхностном рассмотрении можно обнаружить в контекстах типа «*N* знает, что *p*» двух задействованных лиц, двух субъектов: человека, делающего утверждение, и человека, о котором утверждается (писатель — герой, экспериментатор — испытуемый, наблюдатель — наблюдаемый). В разговорной речи позиция внешнего субъекта часто скрыта, завуалирована. Например, говорят: «Иванов полагает, что сплошная экологическая грамотность разрешит противоречие между человеком и природой», и не усложняют свою речь фразами типа «Я думаю, что Иванов полагает, что сплошная экологическая грамотность разрешит противоречие между человеком и природой».

Позиция внешнего субъекта (автора), хотя может быть и неявной, по сути дела оказывается стержневой: мир знания внутреннего субъекта дан через сознание внешнего, им опосредуется и в конечном счете зависит от горизонта видения наблюдателя. Поэтому выделение области рассуждений наблюдателя, т. е. системы высказываний, фиксирующей его познания, в качестве самостоятельной единицы — залог корректности формальной модели. Внешний субъект не обязательно должен представлять конкретное лицо. Мыслимый абстрактно, он может фигурировать в виде точки зрения, теории, исходных предпосылок концептуальной системы, допущений, предположений и т. д.

Мысль о необходимости выделения (разграничения) двух субъективных перспектив в эпистемической логике кажется очевидной и простой, но она не сразу была до конца осознана и оценена логиками. В этом плане показательна довольно долго продолжавшаяся дискуссия о так называемом парадоксе «логического всеведения». Суть его сводится к следующему. В стандартных моделях модальной логики принимается правило: если необходимо *A* и из *A* логически следует *B*, то необходимо и *B*. Меняя модальный оператор «необходимо» на эпистемический оператор «некто знает, что», можно прийти к логическому всеведению, т. е. к выводу о том, что человек в силу логической необходимости знает все логические следствия своего знания. Последнее вызывает недоумение. Скажем, пя-

тилетний ребенок хорошо умеет различать геометрические фигуры. Он знает, что данная фигура—треугольник. Из этого вовсе не следует, что он знает, что сумма углов этой фигуры равна 180 градусам, хотя в геометрии Эвклида верно суждение «Если эта фигура — треугольник, то сумма ее углов равна 180 градусам». Если четко разграничить сферы познаний внешнего и внутреннего субъектов, то парадокс окажется просто недоразумением — ведь вывод о следовании *B* из *A* сделан автором и не может непосредственно быть перенесен в область знаний субъекта, о котором идет речь.

Парадокс всеведения еще раз подтверждает идею о том, что логическое учение о формах правильных рассуждений не может не принимать во внимание ни их содержания, ни условий познавательной деятельности в целом, ни особенностей субъектно-объектного отношения. Последнее в свете сказанного будет выглядеть следующим образом: внешний субъект — внутренний субъект — объект. Под объектом здесь понимается пропозиция (мысль), выраженная в придаточном предложении. В зависимости от глагола (называемого в подобных контекстах установкой) эта мысль будет иметь разную окраску: быть мнением, желанием, знанием, намерением субъекта.

Дальнейшее движение анализа связано с проникновением в глубь структуры внутреннего субъекта, который хотя и мыслится абстрактно, но должен воспроизводить существенные черты реального сознания и действий людей. В этом плане глубоко продуктивной представляется идея о многомерности внутреннего мира человека. Источники и проявления этой многомерности самые разнообразные. Важно, что и множественность деятельностей человека, включенного в сложную структуру социальных отношений, и мощная сеть информационных каналов современного индустриального (и грядущего за ним информационного) общества, и многоплановость психической организации человека порождают многослойность подсистем познаний, верований, представлений человека, каждой из которых присуща своя внутренняя логика функционирования и развития. Сказанное наводит на мысль о том, что необходимо фиксировать области полагаемый субъекта. Формальная модель при этом требовании будет выглядеть как комбинированная система, соединяющая ряд подсистем. Причем каждая из под-

систем может иметь свою особенную информационную базу и свой специфический набор логических средств.

В зависимости от ситуации (предмета рассмотрения) области полагания будут обладать разной степенью реальности. В самом деле, психологически переживаются и логически осмысливаются события как реального мира, так и мира фантазий, иллюзий, догадок, предположений, сомнений. Заметим, что установление истины находится вне компетенции логики, в задачу которой входит исследование условий истинности рассуждений, корректности перехода от одних истинных высказываний (действительно истинных, истинных по предположению, истинных по соглашению, возможно истинных, необходимо истинных, истинных согласно авторитету и т. п.) к другим.

Несколько слов скажем в адрес классической логики. Она имеет довольно ограниченную область действия, но нельзя сказать, что мы ею не пользуемся в практических рассуждениях. Классическая логика вплетается, как нить, в общую ткань рассуждений. Если эпистемическая логика принадлежит к разряду неклассических, то это не означает, что она игнорирует законы логической классики. Вполне естественно допустить, что законы классической логики действуют внутри областей полаганий, но могут нарушаться, если речь идет об отношениях между областями.

Проанализируем парадокс Эвбулида «Покрытый», который гласит о том, что Электра знает своего брата Ореста и не знает своего брата Ореста. Не знает потому, что не узнает его в человеке, стоящем перед ней и покрытом материей. Представления Электры как о своем брате, так и о покрытом человеке могут быть непротиворечивыми с точки зрения классической логики. Наблюдатель, оценивая состояние познаний Электры, устанавливает несоответствие между известным Электре (по его мнению) и известным только ему, но не Электре. Им создается «противоречие», которое имеет место между двумя разнородными областями известного и которое имеет уже иной характер, чем формально-логическое противоречие классической логики.

С введением в рассмотрение областей полаганий субъектно-объектная структура эпистемических контекстов будет выглядеть так: внешний субъект — внутренний субъект как система субъективных обла-

Данная таблица дает представление о возможной семантической модели высказываний с эпистемическими оборотами. Например, «субъект, что p » означает, что «субъект полагает, что p » может обосновать p с точки зрения общественных норм. Эта истинность и обоснованность подтверждаются наблюдателем. В случае «субъект считает, что знает, что p » наблюдатель не подтверждает истинность p , а также не дает и оценки «ложно». Наблюдатель не всегда может установить истинный статус p (нет возможности проверить, есть сомнения, несогласия, недопонимания и т. д.). Как часто, например, в процессе ассимиляции научного открытия происходит несовпадение индивидуально-психологического и социально-психологического времени, из-за чего для ученого его творение переживается как настоящее, а для научного сообщества оно станет настоящим лишь в будущем (с точки зрения наблюдателя). Налицо факт опережения состояния общественной мысли индивидуальными носителями знания.

Каждому эпистемическому высказыванию соответствует своя последовательность истинностных оценок. Например, «знает» — $\langle \text{и, и, и} \rangle$. В этом смысле истинно и ложно будут первичными значениями, а «знает», «полагает» — вторичными, производными от первичных значений в разных системах измерения. Возможность сведения познавательных оценок к «и» и «л» указывает на то, что рассуждения о знании могут быть формализованы и, следовательно, доступны логике компьютеров.

На уровне внешнего наблюдателя высказывания получают оценки истинно и ложно, характеризуя состояние личного знания наблюдателя; кроме того, ряд оценок характеризует познания другого. В этом смысле и в индивидуальном сознании можно выделить элементы проявления собственного Я; извне воспринятые элементы и ассимилированные с Я, элементы, не ассимилированные с Я и функционирующие как инородные. Поэтому можно сказать, что эпистемическая логика изучает не только рассуждения о знании, но и рассуждения на основании знания (своего и чужого).

Наш экскурс в область эпистемической логики был бы неполон, если бы мы не упомянули вопрос о видах знания.

Выше отмечалось, что области полаганий можно

интерпретировать как сосуществующие подсистемы сознания. Поскольку в конкретных ситуациях актуализируются, как правило, лишь некоторые из элементов жизненного опыта, полезно было бы различать *потенциальное* и *актуальное* знание. Это различие обуславливается не только связью рассудочного мышления с памятью, но и его неотделимостью от других видов психической активности: — восприятия, воображения, эмоций и т. д. Например, в парадоксе Эвбулида данные восприятия не дают Электре информации, достаточной для того, чтобы узнать в покрытом человеке своего брата.

Если не поставить вопрос о том, на каком основании, из какого источника мы судим о мыслях другого человека, то есть опасность попасть в ситуацию писателя, который создает своих героев и может писать о том, что они думают, чувствуют и каковы их сокровенные желания. Можно ли, например, о своем ближнем с уверенностью сказать, что он думает? Вероятно, да, если он будет искренен и сам расскажет, о чем думает, т. е. имеется прямой источник информации. Эпистемическую оценку на основании прямых свидетельств будем называть *явной*, например «явное знание», «явное мнение».

Оценка «субъект (явно) знает, что» предполагает, что наблюдатель также использует логику, которую применяет в ходе обоснования своих утверждений субъект. Для наблюдателя вполне естественно заключить, что субъект может знать все следствия, полученные наблюдателем из известного субъекту. В данном случае эти следствия будут иметь характер *неявного* знания (с точки зрения наблюдателя). При такой расстановке акцентов правило вывода, раньше приводившее к всеведению, вновь станет благополучным: если из *A* логически следует *B*, и субъект знает, что *A*, то он неявно знает, что *B*.

В большинстве случаев люди судят о себе подобных на основании косвенных источников информации: мнения других людей, социокультурный фон знаний, обстоятельства жизненного пути субъекта и т. д. Уменность их суждений во многом зависит от умения идентифицировать себя на месте другого и попытаться ощутить всю полноту переживаний им окружающего мира. Конечно, к такому подходу нужно стремиться, если мы не хотим видеть в человеке только средство достижения своих целей. Часто это до-

вольно сложная задача. Например, как следователь может идентифицировать себя с преступником, как один этнос может понять другой? Познавательные оценки на основании косвенных источников информации будем называть *подразумеваемыми*.

В предыдущих рассуждениях анализ осуществлялся от наблюдателя к субъекту, затем к системе обоснований и, наконец, опять к наблюдателю, который подтверждает (или нет) обоснованность утверждений субъекта. Естественно предположить и другое направление анализа. Предположим, что наблюдателю известны некоторые распространенные в обществе (жизненном пространстве субъекта) представления. Пусть A — одно из таких положений. Можно допустить, что субъект знает, что A , если A не противоречит явным элементам знания субъекта. В данном случае лишь подразумевается, что субъект знает A . Допуская возможность подразумеваемого знания, удастся сохранить одно из важнейших правил модальной логики — правило Геделя.

В пределах краткой статьи мы не смогли очертить все методологические основания эпистемической логики. Речь шла только о личностном знании, не рассматривалось знание групповое, функционирование познавательных оценок в процессах общения и вообще знание рассматривалось как информация, но и в этом аспекте эпистемическая логика может быть включена в общую теорию логики действий и интенциональных актов.

М. А. Гелашвили

3. Установка как функция

Предлагается формализация концептуальной схемы такого важного понятия психологии, как установка, под которой понимается некое функциональное отношение субъекта и ситуации. Установка выступает в качестве особой детерминанты поведения человека и может рассматриваться как множество. Личность, согласно мысли автора, является универсальным множеством установок.

Классическое определение установки в теории установки недостаточно для того, чтобы осмыслить установку как функцию. Дело в том, что данное определение подчеркивает только одно свойство установки — то, что установка является динамическим свой-

© М. А. Гелашвили, 1990

можно также называть пропозициональными установками»¹. Таким образом, в данном разделе интенциональных логик появляется понятие *логического субъекта*.

В семантиках пропозициональных установок субъект установки связывается с некоторым положением дел, при котором истинно или ложно предложение, содержащее пропозициональную установку. Данное положение дел называется действительным миром. Рассматриваются также альтернативные развития событий к действительному миру так называемые эпистемически возможные миры, в которых разбирается вопрос истинности объекта — предложения установки. Таким образом, вопрос истинности предложения «Петр знает, что $2+2=4$ » в действительном мире связывается с вопросом истинности предложения « $2+2=4$ » в эпистемически возможных мирах. Связь между действительным миром и эпистемически возможными мирами в разных семантиках пропозициональных установок трактуется по-разному. В реляционных семантиках рассматривается так называемое отношение альтернативности между действительным миром и его эпистемической альтернативой. Построены отдельные реляционные семантики для модальностей знания и веры, но прямая семантическая интерпретация пропозициональной установки через понятия отношения альтернативности невозможна.

Дело в том, что установка в семантическом плане должна связывать действительный мир не с отдельными альтернативами, а с множествами таких альтернатив. Поэтому Я. Хинтиikka, пытаясь в реляционных семантиках дать интерпретацию понятия установки, явно выходит из рамок реляционных семантик² и подходит к окрестностным семантикам (типа Монтегю), которые появились несколько позже. В окрестностных семантиках модальным оператором в качестве значения приписывается отношение между действительным миром и множеством возможных миров. Следовательно, *установка есть отношение между действительным миром с фиксированным субъектом и множеством тех эпистемически возможных миров, в которых дан объект установки* (в которых истинен объект-предложение установки) (μ^aRS).

В окрестностных семантиках, кроме семантической интерпретации понятия установки, возможна семантическая интерпретация субъекта. Если понятие уста-

новки определяется через понятие отношения между действительным миром и множеством эпистемически возможных миров, то понятие логического субъекта определяется через понятие множества эпистемических окрестностей. *Субъект в действительном мире есть множество всех эпистемических окрестностей данного мира.* В семантике пропозициональных установок мы можем ввести функцию интерпретации $\varphi_B(a, \mu)$, которая субъекту a в некотором мире μ дает значение S . Таким образом, $\mu^a R^B S \Leftrightarrow S = \varphi_B(a, \mu)$. Соответственно условие истинности $B_a p$ (B — установка) в мире μ будет иметь следующий вид: $\mu \models B_a p \Leftrightarrow \forall \lambda (\lambda \in \varphi_B(a, \mu) \Rightarrow \lambda \models p)$.

Итак, в семантическом плане установка связывает действительный мир с эпистемическими окрестностями, которые являются значениями субъекта в данном мире.

Полученная нами модель явно показывает, что семантический анализ пропозициональных установок должен моделировать реальные отношения субъекта со средой. Отсюда важность сопоставления данной модели с содержательной теорией установки (имеется в виду психологическая теория установки Д. Н. Узнадзе). Поэтому наша задача — интерпретация семантики пропозициональных установок в общепсихологической теории установки. Рассмотрим основные понятия теории, а именно понятия установки, фиксированной установки и ситуации.

Как отмечалось, понятие установки в концепции Узнадзе первоначально возникает из рассмотрения психофизического вопроса. Критикуя постулат непосредственности традиционной психологии, Узнадзе отмечает, что нет непосредственной связи между психикой субъекта и средой, они — неоднородные реальности, «непосредственная связь существует только между реальным субъектом и действительностью»³. Для решения психофизического вопроса Д. Н. Узнадзе вводит понятие установки. Установка является промежуточным звеном между психикой и ситуацией, она олицетворяет связь между данными реальностями. Но раз психика — функция целостного субъекта, система «субъект — ситуация» является более основной и более плодотворной для изучения, чем система психика — ситуация». Элементы системы «субъект — ситуация» находятся в непосредственной связи; данная непосредственная связь выражается поняти-

ем установки. Кроме этого, из тезиса непосредственной связи субъекта и ситуации вытекает, что субъект и ситуация — однородные реальности. Хотя данный онтологический вопрос специально не рассматривается в концепции установки, ответ на него непосредственно вытекает из рассмотрения понятий субъекта и ситуации.

Одним из основных понятий теории установки является понятие фиксированной установки. Для нас существенна связь фиксированной установки, с одной стороны, с ситуацией и, с другой — с целостным субъектом.

1. После решения конкретной задачи (если данная ситуация решалась субъектом многократно или имела для него определенное значение) решенная задача (ситуация) для субъекта не теряется и сохраняется в нем как фиксированная установка (ситуация), как готовность к действию. Узнадзе выделяет наследственные и приобретенные установки. Наследственные (функциональная тенденция) охватывают те фиксированные установки (решенные ситуации), фиксация которых произошла не в онтогенезе субъекта, а в эволюции его рода.

2. В каждой актуальной ситуации субъект обладает определенными фиксированными установками. Целостность и устойчивость субъекта определяются его фиксированными установками (приобретенными или наследственными). Мы можем в каждой ситуации определить значение субъекта как целостность его фиксированных установок.

Так что вопрос об однородности субъекта и ситуации сводится к вопросу однородности фиксированной установки (ситуации) и актуальной ситуации. У последних двух понятий имеется общий род — ситуация; различие между ними заключается в том, что одно выражает актуальную ситуацию, а другое — потенциальную, возможную и решенную.

В теории установки специально не выделено понятие предмета (объекта) установки. В психологической литературе данное понятие обычно употребляется под термином «предмет потребности». Легко можно заметить, что предмет установки может быть элементом и актуальной ситуации и фиксированной установки.

Основные понятия теории установки понимаются нами следующим образом.

1. Установка — организационная сторона организма (субъекта), в которой решаются определенные задачи, осуществляется связь между организмом (субъектом) и средой (ситуацией).

Выделим самую общую черту установки — то, что она есть отношение между организмом (субъектом) и средой (ситуацией).

В динамическом плане установка есть функция, которая отображает множество структур фиксированных установок (ситуаций) в определенные содержания активности субъекта. Именно данные функции составляют организацию субъекта как целого, а в случае человека они представляют суть человеческой личности. Личность есть множество всех установок (отношений) субъекта. Определяя личность в теории установки как множество всех установок, среди которых существенную роль играют социальные установки, мы можем вывести логический «эквивалент» данного понятия и выразить его формулой
$$p^a = \bigcup_{i=1}^n \bigcup_{j=1}^m UR_{ij}(a, \mu_j).$$

2. Актуальная ситуация — актуальное развитие событий, те объективные условия, которые субъекту ставят задачу.

3. Фиксированная установка — закрепленная решенная задача (ситуация) в субъекте, которая при наличии соответственной ситуации актуализируется. Субъект — целостность структур фиксированных установок.

В психологической теории установки интерпретацию семантики пропозициональных установок производим следующим образом.

1. Установка — установка (отношение).

2. Ситуация — действительный мир.

3. Фиксированная установка — эпистемически возможный мир $\lambda_i (\lambda_i \in \Phi_B(a, \mu))$.

Перевод дает весьма интересное определение установки: установка есть отношение между актуальной ситуацией и множеством альтернативных фиксированных установок данной ситуации.

Приведенное определение в общем смысле совпадает с определением установки как отношения между субъектом и ситуацией. Особенность данного определения заключается в том, что здесь значение субъекта берется в интенциональном плане для данной ситуации. Интуитивно это означает, что при решении

задачи в субъекте мобилизуются не все возможности (множество всех фиксированных установок), а лишь некоторые (множество альтернативных фиксированных установок), достаточные для решения данной задачи (в которых дан объект установки).

Однородность понятий ситуации и фиксированной установки подтверждается и в интерпретации. Ситуация в ней выступает как определенное актуальное развитие событий (действительный мир), а фиксированная установка — как возможное состояние положений (возможный мир). При наличии определенной установки с фиксированным субъектом и ситуацией фиксированные установки объединяются во множество альтернативных фиксированных установок, которое представляет значение субъекта в данной ситуации. Во множество объединяются те фиксированные установки, которые содержат объект (предмет) установки.

В интерпретации условие истинности преобразуется в следующий вид: p объект установки B субъекта a в некоторой ситуации μ тогда и только тогда, когда p имеет место во всех альтернативных фиксированных установках ситуации μ , т. е. в актуальной ситуации задача решается тогда и только тогда, когда она решена во всех альтернативных фиксированных установках данной ситуации.

Итак, осуществлено внедрение семантического метода в теорию установки. Теория возможных миров может являться мощным средством для теоретических целей концепции установки. Понимание установки как отношения между субъектом и определенной ситуацией дает возможность представить психологию установки как непротиворечивую систему и соответствующую логику установок, в которой можно анализировать все установки. При этом логические и психологические подходы изучения установки должны образовать определенную целостность; они должны на разных уровнях представить отношение субъекта со средой.

Если бы мы понимали установку лишь как свойство и положение целостного субъекта, невозможно было бы рассматривать установку как функцию. Д. Н. Узнадзе хотя и считал, что установка — это связь между субъектом и ситуацией, — план поведения, формально он не осознавал, что установка есть отношение и функция, и считал, что установка явля-

ется аргументом поведения. Из классической схемы установки четко видно — установка в динамическом плане носит функциональный характер. Здесь установка непосредственно связывается с поведением субъекта. Значениями установки как функции являются определенные акты поведения.

Первоначальная постановка вопроса и экспериментальное изучение данной функции принадлежит классическому бихевиоризму (Уотсон). Принцип стимула — реакции, — который выражался формулой $R=f(S)$, впервые указал в психологии на функциональную взаимозависимость организма со средой. Правда, данная функция принималась как константа, и классический бихевиоризм не мог объяснить тот факт, когда один и тот же стимул вызывал в организме разные реакции — в этом случае рушился принцип стимула — реакции. Поэтому последующее развитие бихевиоризма (необихевиоризма) было направлено на поиск промежуточных переменных между стимулом и реакцией ($R=f(\Theta, S)$), в которых в основном подразумевались когнитивные элементы, разные субъективные факторы. В этом случае аргументами функции становятся неоднородные переменные, и связь между ними немыслима.

С нашей точки зрения, поиск промежуточных переменных правомерен для объяснения поведения субъекта, но эти переменные должны быть однородны в отношении стимула актуальной ситуации. Как было показано, в теории установки проходит принцип однородности — актуальная ситуация и фиксированная установка являются однородными переменными. В теории установки промежуточные переменные — это фиксированные структуры.

Таким образом, установка — это отношение между субъектом и актуальной ситуацией. В динамическом плане данное отношение превращается в функцию (f), которая отображает актуальную ситуацию (μ), и структуру фиксированных установок (ситуаций) Θ в определенный акт поведения субъекта (λ) ($\lambda=f(\Theta, S)$). Мы можем определить потребность как динамическое свойство фиксированных структур, поэтому классическая схема установки сохраняет свое значение.

Поведение субъекта — в большинстве случаев сложный акт. Его можно представить множеством, элементы которого в определенных ситуациях рассма-

триваются как самостоятельные акты поведения. Установка есть функция, определяющая акт поведения, поэтому между установкой и поведением существует взаимоднозначное отношение. Следовательно, установка — множество, элементы которого также являются установками. Множество всех установок (отношений) субъекта называется личностью. Личность — универсальное множество установок. Личность как множество можно упорядочить (\leq). Таким образом, можно определить теоретико-множественные операции (\cup , \cap , $-$) в личности, которые не будут лишены определенного психологического смысла.

¹ Хинтиikka Я. Логика и философия — философия логики // Хинтиikka Я. Логико-эпистемологические исследования. — М., 1980. — С. 40.

² Хинтиikka Я. Семантика пропозициональных установок // Там же. — С. 78.

³ Узнадзе Д. Н. «Общая психология». — Тбилиси, 1940. — С. 37.

Е. В. Субботский

4. Существование как психологическая проблема

Анализируется психологический смысл проблемы существования, связанной с возможностью для человека упорядочивать явления согласно их бытийному статусу («атрибуция существования»). Дается описание психологического эксперимента по выявлению представлений о существовании у детей дошкольного возраста.

Проблема существования относится к числу традиционных проблем философии. Среди ее многочисленных аспектов и разворотов можно упомянуть проблему соотношения бытия и сознания, бытия и истины, классификацию статусов бытия и др. Решению этих проблем в рационалистической философии посвящены такие работы, как «Рассуждение о методе» Декарта, первая часть «Науки логики» Гегеля. Подобная чисто теоретическая разработка проблемы существования бытовала в течение столетий и даже тысячелетий, но лишь в последние десятилетия стала осознаваться необходимость ее эмпирического анализа.

Этот анализ связан с выделением психологического аспекта проблемы существования. Сущность его состоит в определении и описании параметров, опираясь на которые индивид *приписывает существование тому*

© Е. В. Субботский, 1990

или иному объекту, процессу или явлению, или же, напротив, отказывает этому процессу (явлению) в существовании. Иными словами, проблема заключается в описании свойств, посредством которых человек иерархизирует все явления внешнего и внутреннего мира по статусам бытия, приписывая им, например: а) статус реально существующего объекта, данного как чувственный образ; б) статус объекта, существующего реально, но не данного как чувственный образ; в) статус объекта, существующего только как образ памяти, но не обладающего реальным бытием (память о прошедшей эпохе, умершем человеке и т. п.); г) статус объекта, существующего лишь в возможности (фантастический образ); д) статус невозможного объекта (например, логически или физически невозможное событие) и т. д. При этом понятно, что указанные свойства — назовем их «параметрами идентичности объекта», или «параметрами атрибуции существования», — зависят от возраста субъекта и по своему задаются в каждой культурно-исторической ситуации.

Выделение параметров «атрибуции существования», специфичных для субъекта данного возраста и культуры, имеет фундаментальное теоретическое значение, поскольку именно эти параметры структурируют индивидуальное сознание, отделяя сферу обыденной реальности от сфер фантазии, сновидения и игры¹. Практическое значение решения этой проблемы также весьма велико. Так, можно полагать, что одним из типичных симптомов психических заболеваний есть как раз нарушение механизма «атрибуции существования», иерархизации явлений по статусам бытия, что приводит к возникновению галлюцинаций, фобий, маний и т. п.

Ослабление или нарушение функции атрибуции существования является, на наш взгляд, причиной и такого психологического явления, как игнорирование или приуменьшение опасности, когда реальная опасность зачисляется в ранг событий, имеющих лишь возможное, но не реальное бытие. В отличие от так называемого разумного риска, когда реальность опасности и ее последствий принимается в расчет, феномен «преуменьшения опасности» имеет иную психологическую природу и может привести к весьма серьезным последствиям (о чем свидетельствуют, в частности, ряд крупномасштабных аварий 1986 г., приведших к

человеческим жертвам и нарушению экологического баланса окружающей природной среды).

Большое значение феномен «атрибуции существования» имеет и в сфере социальных отношений людей, в сфере воспитания и общения. Одной из психологических причин неэффективной коммуникации, например агрессии, является, на наш взгляд, стойкая психологическая иллюзия «неперманентности» акта общения. Когда мы производим некую материальную вещь, мы уверены в ее устойчивости, стабильности, перманентности (permanence). Когда же мы совершаем поступок или акт общения, у нас нередко возникает иллюзия его нестабильности, недолговечности, незначимости и обратимости его последствий. Следствие подобной иллюзии — небрежность в общении и воспитании, пренебрежение «мелочами», итогом чего в конечном счете является неэффективность воспитательных и коммуникативных воздействий.

Начало изучения способов атрибуции существования было положено в 30—40-х годах работами Ж. Пиаже и А. Мишотта². А. Мишотт, изучая особенности восприятия объекта у взрослых людей, обнаружил явление так называемого феноменального дублирования (*doublement phenoménale*). Он показал, что восприятие стабильности объекта возникает у человека тогда, когда фоном для этого объекта служит некая стабильная «среда»: например, включение света в незнакомой комнате создает ощущение того, что свет возник «из ничего», а освещенные предметы существовали и раньше. Если предмет выходит из-за экрана или заходит за экран, мы испытываем ощущение того, что предмет существовал до (и существует после) выхода (захода), хотя никаких объективных доказательств этого у нас нет (эффект экрана). Еще раньше Пиаже, изучая сознание ребенка, показал, что подобная «атрибуция существования» объекта, ушедшего из поля зрения, возникает постепенно и формируется лишь к концу второго года жизни ребенка. Ребенок трех-четырёх месяцев ведет себя так, как если бы объект, ушедший из его поля зрения, перестал существовать. Описанные Пиаже шесть стадий формирования «идеи» стабильного объекта дали толчок многочисленным исследованиям, которые привели к ряду новых открытий в области развития детского сознания.

Так, английский психолог Т. Бауэр³ демонстриро-

вал детям в возрасте одного месяца объект, который на краткое время закрывали экраном. Когда экран убирался, он открывал либо пустое место (объект исчез), либо прежний объект. Оказалось, что если время экранирования было невелико (1,5 сек), ребенок, видя исчезновение объекта, демонстрировал удивление (регистрируемое по частоте сердцебиений). Это показывает, что уже на первом месяце жизни у ребенка существует способность приписывать объекту известную стабильность, перманентность существования.

Указанные исследования во многом уточнили результаты Пиаже, но в целом подтвердили его гипотезу о том, что к концу второго года жизни у ребенка окончательно формируется способность к «атрибуции перманентности» объектам в сфере сенсомоторики. Одним из основных критериев, или норм, атрибуции существования является упомянутая «норма перманентности» (НП), которую можно сформулировать так: «Вещь есть стабильный объект, который, если он не подвергнут специальным способам разрушения, продолжает существовать после ухода из поля восприятия». Норму перманентности можно задать и иначе, постулируя три запрета: 1) вещь не может возникнуть «из ничего»; 2) вещь не может превратиться «в ничто»; 3) вещь не может, минуя обычные способы обработки или естественного развития, превратиться в другую вещь. Если объект не подчиняется указанным запретам, будем говорить, что к нему применима «норма неперманентности» существования (НН).

Итак, согласно распространенной точке зрения, в первые месяцы жизни ребенок приписывает объектам исключительно норму неперманентности (т. е. не воспринимает их как стабильные), к двухлетнему же возрасту им атрибутирует перманентность⁴.

Подобная смена НН на НП, происходящая в результате кумуляции и обогащения сенсомоторного опыта, кажется нам невозможной по двум причинам. Во-первых, НН и НП являются категориальными оппозициями и могут возникать в сознании только одновременно; во-вторых, опытное опровержение любой из этих установок (например, НН), взятой изолированно, теоретически невозможно, так как сама возможность «опыта» с необходимостью опирается на наличие обеих установок. Например, эмпирическая констатация того, что объект, зашедший за экран, не ис-

чез из мира, уже предполагает наличие в сознании ребенка идеи перманентности.

Это приводит нас к выводу о том, что НН и НП не сменяют друг друга, а сосуществуют в сознании ребенка и взрослого. Однако такое сосуществование возможно лишь тогда, когда «сферы влияния» НН и НП в сознании четко разграничены. Иными словами, НН и НП «работают» в разных сферах индивидуального сознания⁵. Так, в сфере обыденной реальности легально господствует НП, в то время как НН (приписывание материальным объектам возможности возникновения «из ничего», «превращения», «исчезновения») существует в сферах сновидения, сказки, фантазии и игры. В соответствии с этими соображениями сформулируем основные гипотезы исследования:

в дошкольном возрасте (4—7 лет) происходит дифференциация нормативно заданных представлений о существовании объекта: если в сфере обыденной реальности доминирующее положение занимает норма перманентности, в то время как НН существует лишь в статусе возможности, то в сферах сказки, игры, фантазии НН занимает легальное положение как реальное свойство объектов;

первоначально подобная дифференциация происходит на уровне вербального поведения, суждений о мире, и лишь затем — на уровне реальных поступков;

в силу того что грань между сферами реальностей в сознании дошкольника еще относительно слаба, могут быть созданы условия, при которых ребенок приписывает объекту неперманентность в сфере обыденной реальности;

обращение к НП или НН при освоении события зависит от того, насколько та или иная норма способствует удовлетворению потребностей ребенка: дети будут чаще приписывать объекту (событию) ту из норм, атрибуция которой приводит к удовлетворению более сильной прагматической потребности;

старшие дошкольники при прочих равных условиях будут менее склонны к использованию НН в сфере обыденной реальности, чем младшие;

под влиянием наблюдения феномена кажущейся неперманентности объекта способ освоения его на уровне вербального поведения может измениться на противоположный (с НП на НН). Способы освоения (познания, оценки и преобразования) одного и того же объекта или феномена на разных уровнях поведе-

ния (вербальном и реальном) могут быть противоположны;

благодаря тому что спонтанное превращение одного объекта в другой в меньшей степени противоречит обыденному опыту, чем возникновение объекта «из ничего» или превращение его «в ничто» (так как тут сохраняется по крайней мере субстанция объекта при изменении его внешних признаков), дети будут чаще допускать реальность такого превращения (т. е. приписывать объекту неперманентность существования), чем реальность порождения или исчезновения.

Для решения поставленной задачи необходимо было сделать так, чтобы ребенок столкнулся с явлением кажущегося нарушения перманентности существования объекта и был вынужден объяснить и освоить его. С этой целью использовалась деревянная шкатулка 18×12×12 см с плотно закрывающейся крышкой. Дно шкатулки было покрыто черным бархатом. При закрывании крышки от одной из внутренних стенок шкатулки отделялась металлическая пластинка (тоже покрытая бархатом) и бесшумно опускалась на дно, плотно закрывая его. При повторном открывании крышки невозможно было заметить никаких изменений, а система магнитов, вделанных в стенки и дно, не позволяла заметить наличие пластинки при любых манипуляциях со шкатулкой.

Это простое устройство позволяло осуществить все три возможных варианта нарушения перманентности существования: превращение (например, в шкатулке находился клочок бумажки, а появилась почтовая марка), исчезновение (была марка, стало пусто) и порождение (было пусто, появилась марка).

В первой серии мы исследовали вербальное поведение детей. Им рассказывали сказку про девочку, к родителям которой пришел знакомый и, уходя, дарит Маше деревянную шкатулку, которая может превращать простые бумажки в красивые почтовые марки (показывают рисунок шкатулки). Девочка сначала не поверила, но, попробовав, убедилась в волшебных свойствах шкатулки. Ребенка просили повторить историю, после чего задавали вопросы типа «Может ли бумажка превратиться в марку?», «Может ли марка бесследно исчезнуть?», «Может ли марка появиться из ничего?». Цель этих вопросов — выяснить, допускает ли ребенок возможность нарушения перманентности существования объекта в сфере обыденной ре-

альности или относит такую возможность лишь к сфере сказки.

Во второй серии ребенка ставили в реальную ситуацию кажущегося нарушения перманентности существования стабильного объекта. В первой подсерии («Превращение») его приглашали в экспериментальную комнату, посреди которой стояла шкатулка, а рядом лежала бумажка. Ребенку говорили: «Смотри, это, наверное, та самая шкатулка из сказки. А вот бумажка. Если хочешь — можешь попробовать превратить, а я схожу по делам». После этого экспериментатор выходил из комнаты и скрытно наблюдал за поведением ребенка. Если ребенок клал в шкатулку бумажку и закрывал ее, то после открывания обнаруживал в ней вместо бумажки марку, заранее положенную между стенкой шкатулки и пластинкой. Через 5 мин экспериментатор возвращался в комнату и проводил постэкспериментальное интервью. В ходе интервью задавались вопросы: «Откуда взялась марка?», «Куда делась бумажка?» и т. п. Цель интервью — выяснить, повлияет ли наблюдение кажущейся неперманентности на вербальное поведение ребенка.

Вторая и третья подсерии («Порождение» и «Исчезновение») по структуре напоминали первую. Различие заключалось лишь в том, что во второй подсерии ребенок, закрыв пустую шкатулку, при открывании обнаруживал в ней марку, а в третьей, положив в шкатулку подаренную ему марку в надежде превратить ее в колечко, обнаруживал, что марка исчезала⁶.

Мы полагаем, что если ребенок осваивает феномен с опорой на норму перманентности (т. е. не допуская, чтобы объект мог превратиться в другой, исчезнуть или появиться «из ничего»), он будет вести себя соответствующим образом, а именно: удивляться произошедшему (что должно найти выражение в мимике, пантомимике и голосовых реакциях) и активно искать исчезнувший предмет (бумажку или марку). Если же он, пусть неосознанно, допускает возможность неперманентности, он не будет искать объект, а будет обращаться к повторным манипуляциям с крышкой (закрывая и открывая ее) с целью воспроизвести феномен.

Теоретически манипуляции с крышкой могут иметь разную психологическую природу. С одной стороны,

они могут представлять собой продуктивно-феноменальные действия (типа действий опускания монеты в автомат или нажима на кнопку компьютера), цель которых — получить конечный продукт без понимания механизмов его производства. С другой стороны, они могут иметь магическую природу (подобно действиям «постучать по дереву», «плюнуть через плечо», «присесть на дорогу» и т. п.), т. е. являться действиями, рассчитанными на «понимание» желаний субъекта со стороны неодушевленных объектов.

Истинная психологическая природа этих манипуляций должна была проявиться в третьей подсерии («Исчезновение»). В этой подсерии, в отличие от предшествующих, пусковое действие не срабатывало, давало отрицательный эффект (приводило к потере марки). Если действие закрывания-открывания крышки имело игровую или феноменально-продуктивную психологическую природу, т. е. если ребенок, совершая их, не верил в возможность порождения или превращения объекта, то в этой подсерии он должен был упорно искать исчезнувший объект. Если же его действие имело магическую природу, то поиски исчезнувшего объекта не имели бы смысла: «возвратить» марку в этом случае можно было только многократно повторяя магически-пусковое действие.

В качестве объективных показателей реального поведения, помимо регистрации поступков ребенка, использовалась балльная оценка реакции удивления, отдельно по параметрам «мимика и пантомимика», «голосовые реакции», балльная оценка по параметру «Поиск».

6. Результаты показали, что в вербальном плане почти все испытуемые (в возрасте от 4 до 7 лет) признали невозможность превращения, исчезновения и порождения объекта в сфере обыденной реальности, относя такую возможность к сфере фантазии, сказки и игры.

В реальной ситуации все дети прибегали к попыткам превращения, как только они оставались в одиночестве. Вместе с тем в подсериях «Превращение» и «Порождение» лишь незначительное число испытуемых обнаружили поисковое поведение. В подсерии «Исчезновение» число испытуемых, прибегающих к поиску исчезнувшей марки, значительно больше, однако и тут большинство 4—5-леток и почти половина детей подготовительной группы (6 лет) не прибегают

к поиску. Таким образом, большая часть детей во всех подсериях осваивает феномен с опорой на норму неперманентности, а их манипуляции со шкатулкой имеют продуцирующе-магический характер. Вместе с тем велико и число детей, для которых открывание-закрывание шкатулки имело продуктивно-феноменальную психологическую природу и которые, не обнаружив поиска в подсериях, в которых это действие приводило к желанному результату (получить марку), обращались к поиску в подсерии «Исчезновение». По показателям мимики выяснилось, что степень удивления детей в подсерии «Исчезновение» была значительно сильнее, чем в других подсериях.

В постэкспериментальном интервью в подсерии «Превращение» все дети, а в подсерии «Порождение» — большинство перешли к опоре на НН, т. е. признали возможность превращения и возникновения «из ничего» в сфере обыденной реальности. В то же время в подсерии «Исчезновение» возможность неперманентности допускалась значительно реже. Таким образом, ребенку значительно легче признать неперманентность стабильного объекта тогда, когда он возникает из некоторого другого объекта, чем в том случае, если он возникает «из ничего» или обращается «в ничто».

С целью выяснить, будут ли дети обращаться к НН после исчезновения марки, если инструкцией экспериментатора не задана установка на «волшебные» свойства шкатулки, подсерия «Исчезновение» была проведена в другом детском саду. В контрольных группах детям 4—6 лет задавали некое задание, а в награду предлагали взять себе марку, которую ребенок перед этим сам положил в шкатулку. Данные показали, что, не обнаружив марки, дети контрольных групп выражали значительно большую степень удивления и значительно чаще обращались к поисковым действиям, чем дети экспериментальных групп, манипуляции же «магического» характера среди них почти не встречались. Иными словами, как в сфере суждений, так и в сфере реального поведения дети контрольных групп значительно реже опирались на НН.

Существенных возрастных различий в динамике поведения детей не наблюдалось. Выяснение половых различий показало, что мальчики несколько более, чем девочки, склонны опираться на норму перманен-

тности, не допуская возможности бесследного исчезновения объекта.

В целом данные показали, что общепринятая картина развития представлений ребенка о стабильном объекте нуждается в серьезной коррекции.

Становится очевидным, что даже по отношению к объектам в сфере сенсомоторики развитие это отнюдь не завершается к двухлетнему возрасту, а продолжается в раннем и дошкольном возрасте. Практически все дошкольники охотно признают возможность спонтанного превращения, возникновения и исчезновения объектов в сфере сказки и отрицают эту возможность в сфере обыденной реальности. Такую дифференциацию «сфер влияния» НН и НП в сознании ребенка легко объяснить тем, что к данному возрасту ребенок присваивает ряд структурных характеристик современного европейского сознания, в частности нормативную структуру и ценностную иерархию «сфер бытия-сознания».

Далее оказалось, что в плане вербального, «абстрактно-отстраненного» рассуждения дети решительно отрицают действенность феноменов неперманентности в сфере обыденной реальности, на уровне же реального поведения большинство ведут себя так, как если бы превращение, исчезновение и порождение «из ничего» имели место в действительности. Иначе говоря, на уровне рассуждения культурно-заданная доминантность НП возникает раньше, чем на уровне реального поведения, где ребенок по-прежнему охотно использует обе несовместимые структуры.

Это значит, что гипотетическая «грань» между сферами обыденной и необыденной реальности на уровне реального поведения более размыта, и норма неперманентности (как и норма «магической причинности») легче проникает в сферу обыденной реальности. Такое проникновение, однако, возможно лишь тогда, когда оно облегчено влиянием инструкции взрослого, в которой задана возможность неперманентности (говорится, что «шкатулка из сказки»). При отсутствии такого искусственного «прокола» указанной границы абсолютное большинство испытуемых опирается на НП.

Следует, однако, подчеркнуть, что в данном случае речь идет лишь о непрямом влиянии инструкции взрослого, нарушающем сложившуюся и еще непрочную иерархию норм, а отнюдь не о директивном «введе-

ний» нормы неперманентности; гарантией отсутствия директивности является отсутствие внешнего контроля в момент освоения феномена на уровне реального поведения, в силу чего ребенок мог свободно выбирать любой способ действия. Можно полагать, что в естественных условиях причины подобного нарушения иерархии норм могут быть и иными: физическое или психическое недомогание, стресс, мощная фрустрированная потребность и другие факторы, приводящие к возникновению так называемых «особых состояний сознания».

Важно отметить и влияние эмоционально-потребностной сферы на способ атрибуции существования. Оказалось, что ребенок охотнее признает возможность нарушения перманентности в сфере обыденной реальности, если это нарушение ведет к получению некоей прагматической выгоды (марки), если же такое нарушение ведет к неприятным для ребенка последствиям, дети предпочитают опираться на НП при освоении феномена. Это — типичный случай детской пристрастности, и оригинальность его лишь в том, что пристрастному отбору тут подвергаются не обычные факты, а наиболее фундаментальные структуры сознания.

Наконец, еще одним достойным внимания фактом является изменение вербального поведения под влиянием наблюдения феноменов. Если до наблюдения дети были уверены в невозможности феноменов неперманентности, то после наблюдения большинство изменили свое мнение и объясняли произошедшее с опорой на НП. Этот факт еще раз свидетельствует о большой лабильности вербального поведения, его подверженности влияниям. Интересно и то, что дети легче допускают норму неперманентности при интерпретации феномена спонтанного превращения, чем при интерпретации исчезновения или порождения «из ничего». Причины этого факта, на наш взгляд, в том, что феномен внезапного превращения, при всей его необычности, все же в большей степени соответствует опыту обыденной реальности, где постоянно происходит преобразование одних объектов в другие (например, воды в лед), чем феномен бесследного исчезновения или возникновения «из ничего».

Итак, в исследовании получили подтверждение почти все из высказанных гипотез. Отсутствие значимых возрастных различий свидетельствует, вероятно, о

том, что предметом исследования стал относительно стабильный период в развитии у детей параметров и норм «атрибуции существования».

- ¹ Субботский Е. В. Ранние этапы генезиса некоторых основных структур сознания // Методологические проблемы оснований науки: Тез. докл. — Киев, 1986. — С. 112—114.
- ² Michotte A. Causalite, permanence et realite phenomenales. — Nauwelaerts, 1962. — 612 p.; Piaget J. La construction du reel chez l'enfant. — Neuchatel; Paris, 1937. — 398 p.
- ³ Бауэр Т. Психическое развитие младенца. — М., 1979. — 319 с.
- ⁴ Piaget J. La construction de reel chez l'enfant.
- ⁵ Бауэр Т. Психическое развитие младенца.

Д. А. Леонтьев

5. Человек и мир: логика жизненных отношений

Разрабатываются философско-психологические основания логики жизненных отношений как некоторой системы взаимосвязей субъекта с явлениями объективной реальности, представляемой неким обособленным жизненным миром данного субъекта. В этом контексте становится возможным описать понятие потребности как объективного отношения.

Как ни парадоксально это может показаться на первый взгляд, основополагающий для марксистской психологической науки тезис о том, что бытие определяет сознание, на сегодняшний день не имеет такого реального методологического влияния на конкретно-научные разработки, которое ему приписывается.

Наиболее традиционной и распространенной формой, конкретизирующей этот тезис в конкретно-психологических исследованиях, выступают положения теории отражения, в соответствии с которыми психическая реальность рассматривается как отражение объективной реальности. В последнее время достигнуты успехи и в изучении конкретных механизмов, посредством которых «строится» субъективная реальность¹. Однако дело в том, что, как справедливо указывает С. Л. Рубинштейн, сам вопрос о соотношении бытия и сознания вторичен. Исходным же является соотношение человека и бытия. «Исходно отношение не мысли к ее объекту, а действия человека и объекта, изначально этот контакт двух реальностей»². Поэтому естественно, что успехи в решении вопроса о том, как реалии объективной действительности репрезентируются в сознании субъекта, связаны с введени-

© Д. А. Леонтьев, 1990

ем в схему анализа категории деятельности и преодолении тем самым «постулата непосредственности» воздействия объективной действительности на психику субъекта, характеризующего традиционную психологию³. В новой схеме анализа деятельность выступила как объяснительный принцип⁴. Особенности психического отражения действительности субъектом объясняются особенностями его практики, деятельности. Переходя, однако, от связки «бытие — сознание», к исходному отношению «человек — бытие», мы сталкиваемся с вопросом о том, с какими реалиями объективной действительности соотносится сама человеческая практика, иначе говоря, чем определяется логика построения деятельности. При такой постановке вопроса деятельность выступает как предмет конкретно-философского анализа.

Одна из точек зрения заключается в том, что исходным моментом, определяющим построение деятельности, является ее субъект — личность, характеризующаяся прежде всего системой отношений к миру. «Для психологии это означает, что, исследуя проблему личности и деятельности, не с деятельности нужно начинать»⁵. Личность «строит» деятельность и регулирует ее протекание на основании отношения личности к деятельности, которое, в свою очередь, «определяется через место деятельности в жизнедеятельности личности... и через место самой личности в жизнедеятельности»⁶. Жизнедеятельность при этом понимается не как практика, а как «то пространство и тот масштаб анализа «движения» личности, в котором улавливается ее развитие»⁷. Поскольку, однако, траектория этого «движения» определяется теми же отношениями к миру⁸, жизнедеятельность предстает как чистый фон, арена, на которой личность развертывает свою деятельность. Объясняющая все, личность сама остается необъяснимой.

Другая крайность представлена общей теорией деятельности Г. П. Щедровицкого, рассматривающего деятельность как исходную универсальную целостность, первичную по отношению к индивидам. «Не отдельные индивиды тогда создают и производят деятельность, а наоборот: она сама «захватывает» их и заставляет «вести» себя определенным образом»⁹. Имманентная логика построения человеческой деятельности вообще определяет не только конкретные формы, в которых эта деятельность воспроизводится,

но и предметные формы материальной организации мира и формы человеческого сознания¹⁰. На психологическом уровне рассмотрения, однако, встает вопрос о том, какая жизненная необходимость заставляет индивидов включаться в данную конкретную или вообще какую бы то ни было деятельность, осуществлять выбор деятельности и переходить от одной деятельности к другой.

Таким образом, приняв положение о том, что деятельность субъекта опосредует детерминирующие воздействия объективной реальности на субъективную, мы остановились перед вопросом о том, чем детерминирована сама деятельность, иначе говоря, по логике какой жизненной необходимости она осуществляется субъектом. Эта необходимость невыводима ни из свойств рассматриваемого изолированно субъекта деятельности, ни из всеобщих законов построения деятельности вообще, рассматриваемой безотносительно к жизни конкретного субъекта. Именно анализ онтологических оснований логики жизненной необходимости представляет собой задачу данной статьи. Без решения этой задачи представления о характере и механизмах преломления в человеке реальности мира будут неполны.

Ни решение, ни даже постановка этой задачи невозможны в русле преобладающего в философских и психологических работах подхода, в соответствии с которым «и субъект, и объект мыслятся изначально существующими и определенными до и вне какой бы то ни было практической связи между ними, как самостоятельные натуральные сущности. Деятельность, которая практически свяжет субъект и объект, еще только предстоит; чтобы начаться, она должна получить санкцию в исходной ситуации разъединенности субъекта и объекта»¹¹. Этот подход, названный Ф. Е. Василюком «онтологией изолированного индивида», С. Л. Рубинштейн выводил из порожденного идеалистической философией традиционного гносеологического противопоставления субъекта и объекта. В рамках этого противопоставления человек более или менее эксплицитно отождествляется с его сознанием, изымается тем самым из бытия, из объективной действительности и ставится как бы вне этой действительности¹².

Представления о человеке как замкнутом в себе существе С. Л. Рубинштейн называет «фикцией». По-

зитивная альтернатива такой исходной онтологии должна начинаться с признания того, что «человек находится внутри бытия, а не только бытие внешне его сознанию»¹³. Однако с появлением человеческого бытия нельзя рассматривать и мир в абстракции от человека, происходит коренное преобразование всего онтологического плана. «Значит, стоит вопрос не только о человеке во взаимоотношении с миром, но и о мире в соотношении с человеком как объективном отношении. Только таким образом реально и может быть преодолено отчуждение бытия от человека»¹⁴.

Контуры позитивной «онтологии жизненного мира», преодолевающей отчуждение бытия от человека, которое является следствием онтологизации гносеологической схемы «субъект — объект», намечены Ф. Е. Василюком, констатирующим, что мы «нигде не находим живое существо до и вне его связанности с миром. Оно изначально вживлено в мир, связано с ним материальной пуповиной своей жизнедеятельности. Этот мир, оставаясь объективным и материальным, не есть, однако, физический мир... это — жизненный мир»¹⁵. Если рассматривать мир вне связи с субъектом, он лишается своей психологической характеристики и предстает как безжизненный мир. Напротив, «мир, каков он для человека, — это его объективная характеристика»¹⁶.

Итак, в «онтологии жизненного мира» отношения, связывающие субъекта с миром, наделяются статусом особой реальности, первичной, в частности, по отношению к характеристикам субъекта, формирующимся в процессе реализации этих отношений. Опираясь на эту общую онтологическую схему, мы можем попытаться задать основания логики жизненной необходимости, описав через систему специальных понятий реальность практических взаимоотношений человека с миром.

Исходным для нас выступает понятие *жизненного отношения*, под которым мы будем понимать объективное отношение между субъектом и каким-либо объектом или явлением действительности, характеризующееся потенциальной возможностью качественно определенной формы взаимодействия между ними. Жизненное отношение субъекта с объектом или явлением возникает как результат столкновения между ними в форме либо практического, либо теоретического освоения¹⁷. Мы говорим об объективности жизненного

отношения, подразумевая, что оно не зависит от осознания его субъектом и может быть познано внешним наблюдателем с таким же успехом, как и самим субъектом. Оно определяется объективными свойствами объекта или явления, объективными характеристиками субъекта и фактом их столкновения, в котором на основе соотнесения этих объективных свойств и характеристик выявляется потенциальная возможность взаимодействия между ними в той или иной форме. При этом оно в принципе носит индивидуально-специфический характер, хотя многие жизненные отношения совпадают у больших групп людей или даже у всего человечества в меру общности тех или иных их объективных характеристик.

Из сказанного, в частности, вытекает, что круг жизненных отношений человека имеет тенденцию к бесконечному расширению. Действительно, возникновение любого нового жизненного отношения влечет за собой усложнение организации субъекта, что в свою очередь расширяет диапазон возможных взаимодействий с миром и способствует возникновению все новых жизненных отношений.

Организованная совокупность всех объектов и явлений действительности, связанных с данным субъектом жизненными отношениями, представляют собой его *жизненный мир*. Жизненный мир любого субъекта отличается от объективного мира в целом только своими границами; если последний включает в себя все сущее, весь универсум, то жизненный мир субъекта — лишь какую-то часть его. Жизненные миры разных субъектов характеризуются как общим, так и индивидуально-специфическим содержанием; мера их общности определяется, в частности, мерой сходства объективных условий существования субъектов и мерой сходства их организации.

Вся совокупность жизненных отношений субъекта образует потенциальную сторону его жизнедеятельности; актуальная сторона его жизнедеятельности образуется совокупностью деятельностей, в которых жизненные отношения находят свою реализацию.

Многообразие форм взаимодействия субъекта с миром служит основанием для выделения *модусов жизнедеятельности*, каждый из которых задается какой-либо качественно определенной формой такого взаимодействия: кислородный обмен, терморегуляция, отношения полов, познавательное отношение, эстетичес-

кое отношение. Каждое конкретное жизненное отношение может быть отнесено к одному из модусов жизнедеятельности; соответственно, каждый модус жизнедеятельности представлен определенным множеством жизненных отношений, скажем, множеством отношений с объектами и явлениями, релевантными эстетическому или пищевому модусу.

Поскольку жизненные отношения связывают субъекта и с теми объектами или явлениями, взаимодействие с которыми может быть неблагоприятным для него, каждый модус жизнедеятельности характеризуется в каждый момент времени определенным *состоянием жизненных отношений*. Состояние жизненных отношений конкретного модуса есть характеристика того, насколько объективно возможный при наличных условиях характер взаимодействия субъекта с миром в данном модусе способствует продолжению существования и развитию субъекта. Состояние жизненных отношений определяется как внутренним состоянием субъекта, так и возможностями, относящимися к его жизненному миру. При этом субъект, которому мы приписываем активность, способен влиять на состояние своих жизненных отношений. Под *реализацией жизненных отношений* в определенном модусе мы будем понимать активность субъекта, направленную на установление оптимального состояния жизненных отношений в данном модусе, т. е. такого состояния, которое максимально способствует продолжению существования и развитию субъекта.

Однако реализация жизненных отношений возможна не в любом модусе жизнедеятельности. Определенные формы взаимодействия субъекта с миром осуществляются автоматически, без участия активности целостного субъекта в форме его деятельности¹⁸, и лишь за счет саморегулирующейся активности отдельных органов или функциональных систем. Таков, например, кислородный обмен, происходящий без участия деятельности субъекта, если не считать отдельных экстремальных ситуаций. Заданное различие позволяет ввести понятие *потребности*, которое мы определим как соответствующее одному из модусов жизнедеятельности объективное отношение между субъектом и миром, требующее для своей реализации активности субъекта в форме его деятельности. Понятие требования означает, что при отсутствии требуемой активности состояние жизненных отношений

соответствующего модуса будет неблагоприятным для сохранения существования и развития субъекта.

Понимание потребности не как внутреннего состояния «изолированного индивида», а как объективного по своей сути отношения, связывающего субъекта с миром, не являясь общепринятым, постепенно получает признание в марксистской философской¹⁹ и психологической²⁰ литературе. В таком понимании потребность предстает не как негативная характеристика индивида, определяемая через отсутствие, нужду в чем-либо, а как позитивная характеристика, отражающая присутствие данной формы взаимодействия с миром, данной формы деятельности, «действительных отношений», формы «человеческих проявлений жизни», в полноте которых К. Маркс видел признак внутреннего богатства человека²¹. Применительно к человеку только такое понимание потребностей делает возможным приведение к единому знаменателю множества различных движущих человеком побуждений, направленных как на предмет, так и на саму деятельность, как на восстановление гомеостатического равновесия, так и на его нарушение, объединяет такие внешне разные вещи, как потребность в кислороде, движении, пище, стремление к самоутверждению, жажду денег, жажду творчества, потребность быть личностью.

По определению, необходимым условием формирования потребности должно выступать отсутствие постоянной непосредственной данности релевантного предмета. Как показал Ф. Е. Василюк на примере модели внешне легкого и внутренне простого жизненного мира, при непосредственной данности предмета потребности нет необходимости в деятельности субъекта, который не может быть даже, строго говоря, назван субъектом²². Более того, постулируемая Ф. Е. Василюком потребность в этой ситуации теряет право называться потребностью, поскольку потребность в нашем понимании конституируется необходимостью реализации жизненных отношений посредством деятельности, или, другими словами, отвечает лишь модели внешне трудного жизненного мира, который характеризуется атрибутом «протяженности», т. е. пространственной удаленности жизненных благ и временной длительности, необходимой для преодоления этой удаленности²³, реализация любой потребности может быть представлена как путь. Поскольку

удаленность предмета, с которым субъект связан потребностным отношением, не сводится в общем случае к пространственно-временной удаленности, а определяется также наличием средств и преград самой разной природы, единственной адекватной мерой этой удаленности может выступать деятельность субъекта, единицы которой выступают мерками пути, который необходимо преодолеть для осуществления конечного конституирующего потребность акта деятельности. В условиях протяженности жизненного мира множество объектов и явлений действительности, не входящие в круг предметов какой-либо потребности, становятся безразличны для жизнедеятельности субъекта в силу своих объективных свойств и определенной локализации в мире, а именно локализации на пути к реализации той или иной потребности. Объективная связь этих объектов и явлений с реализацией потребности может быть различной: они могут выступать как предпосылка (условие) реализации потребности, как средство, как преграда, как сигнал, как отвлекающая помеха и др., а также как средство реализации предпосылки, как преграда к овладению средством, как сигнал возникшей преграды, как преграда на пути действия отвлекающей помехи и т. д. Таким образом, если мы рассмотрим даже единственную потребность и единственный путь к ее реализации, мы увидим, что в необходимую для реализации потребности деятельность вовлекается большое число разнообразных объектов и явлений действительности, которое многократно возрастает, если мы примем во внимание множественность объектов, релевантных каждой конкретной потребности, и множественность путей к каждому из них, которая наглядно отражена в «модели линзы» Э. Брунсвика. При этом сравнительные характеристики путей к реализации потребности могут влиять даже на выбор конкретного предмета: лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Таким образом, в жизнедеятельность субъекта включено, часто многократно опосредованным путем, множество объектов и явлений действительности, характеризующихся определенным отношением к реализации потребностей субъекта, а именно смысловыми связями. *Смысловая связь* — это такое объективное отношение между двумя объектами или явлениями, в силу которого если один (одно) из них (или какая-либо грань его) имеет отношение к реализации

какой-либо потребности субъекта, то и второй объект или явление также становится безразличным к реализации этой потребности, включается в цепь ее реализации. Цепь смысловых связей прямо соотносится с деятельностным путем реализации потребности: каждое звено пути направляется одной из смысловых связей. Например, если для реализации моей познавательной потребности мне необходимо записаться в некоторую библиотеку, то на пути к этому встает еще необходимость сфотографироваться для читательского билета. В силу этой объективной смысловой связи фототателе включается в систему реализации познавательной потребности. Приведем еще один пример, на котором лучше видна индивидуальная специфичность смысловых связей, их субъектный характер. Так, исследования противоправного поведения показали, что хулиганские действия, ранее рассматривавшиеся как «немотивированные», в действительности мотивированы потребностью в самоутверждении, присущей и законопослушным людям²⁴. Хулиганы, однако, реализуют эту потребность путем унижения других; у большинства же людей унижение других не находится в смысловой связи с утверждением собственной личности. Важно подчеркнуть, что речь идет не об отражении определенных связей в сознании, которое может быть и иллюзорным, а о связях, реальность которых подтверждается практическими действиями, направляемыми соответствующими смысловыми связями: унижение других действительно приносит хулигану чувство собственной значимости. Смысловые связи — это связи, реальность которых обнаруживается или проверяется в результате практической деятельности.

Понятие смысловых связей неотделимо от понятия смыслообразования. Смыслообразование есть процесс расширения смысловых связей. Если за точку отсчета взять реализацию индивидуальной потребности, то смысловые связи первого порядка будут указывать предметы, релевантные данной потребности; эти предметы будут выступать смыслообразующим началом по отношению к смысловым связям второго порядка, определяющим цели, достижение которых необходимо для овладения соответствующими предметами; конечные цели, в свою очередь, приобретают смыслообразующую силу по отношению к промежуточным целям, образуя связи третьего порядка, и т. д. Все эти связи образуются в ходе практической де-

тельности субъекта, в которой вскрываются пути и реализации тех или иных потребностей, определяется место тех или иных объектов и явлений в жизни субъекта благодаря включению их в структуры смыслового опыта. Строго говоря, деятельность не создает смысловых связей: образует смысл «не предметная деятельность, а некоторый субъективный эффект, ею обусловленный»²⁵. Однако этот эффект — открытие субъектом места каких-либо объектов и явлений в его жизнедеятельности — невозможен вне и помимо практической предметной деятельности. Конечно, человек способен раскрывать объективные взаимосвязи и теоретически, в своем мышлении, и формировать идеаторные представления о смысловых связях, однако они далеко не всегда, проходя проверку на практике, оказываются адекватными.

Объективной характеристикой места или роли объектов и явлений в жизнедеятельности данного конкретного субъекта является их жизненный смысл для него, который определяется системой (системами) смысловых связей, распространяющейся на данный объект или явление. Если жизненные отношения характеризуют возможность взаимодействия с теми или иными объектами или явлениями, то жизненный смысл отражает более или менее императивную необходимость такого взаимодействия. Жизненный смысл одного и того же объекта или явления будет в общем случае не совпадать для разных субъектов, поскольку разным будет место данного объекта или явления в их жизнедеятельности.

Реальность практических, «действительных» (К. Маркс) жизненных отношений человека с миром, описываемая с помощью системы введенных нами понятий, и есть, на наш взгляд, объективная, вытекающая из императивов жизненной необходимости основа, в соответствии с которой субъект строит свою деятельность. Субъективной же основой построения деятельности выступает не прямое отражение в сознании жизненных смыслов объектов и явлений, а преломление их в превращенной форме смысловых структур личности, которые, не будучи даны субъекту в образе, функционируют как внутренние регуляторные механизмы, воздействующие на протекание самих процессов деятельности и психического отражения²⁶. Личность, по сути, представляет собой целостную систему смысловой регуляции жизнедеятельности, ре-

ализующую через отдельные смысловые структуры и процессы логику жизненной необходимости во всех проявлениях человека как субъекта деятельности.

В заключение необходимо сделать важную оговорку. Рассматривая логику жизненных отношений как базовую, без которой невозможно понять природу и смысл человеческой деятельности, мы не считаем, что вся человеческая деятельность полностью определяется и объясняется этой логикой. Обрисованную нами онтологию можно сопоставить с низшим из трех смысловых уровней, на которых могут строиться отношения субъекта с миром — с орудийно-полезностным уровнем по Г. С. Батищеву²⁷. С подъемом на более высокие уровни меняется и характер необходимости, задающей построение деятельности человека, которая перестает однозначно определяться актуальным состоянием жизненных отношений. Однако отношения на высших уровнях складываются не иначе, как надстраиваясь над первым уровнем, познание которого является необходимым условием для раскрытия объективной логики и смысла человеческого существования в мире.

- ¹ Напр.: *Восприятие и деятельность*. — М., 1976; *Познавательные процессы: ощущение, восприятие*. — М., 1982; и др.
- ² *Рубинштейн С. Л.* Проблемы общей психологии. — М., 1973. — С. 258.
- ³ См. об этом: *Узнадзе Д. Н.* Психологические исследования. — М., 1966. — С. 158—162; *Леонтьев А. Н.* Деятельность. Сознание. Личность. — 2-е изд. — М., 1977. — С. 73—81; *Асмолов А. Г.* Деятельность и установка. — М., 1979. — С. 13—25.
- ⁴ *Юдин Э. Г.* Системный подход и принцип деятельности. — М., 1978. — С. 292—303.
- ⁵ *Абульханова-Славская К. А.* Деятельность и психология личности. — М., 1980. — С. 322.
- ⁶ *Там же*. — С. 324.
- ⁷ *Там же*. — С. 131.
- ⁸ *Там же*. — С. 135.
- ⁹ *Щедровицкий Г. П.* Исходные представления и категориальные средства теории деятельности // *Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология)*. — М., 1974. — С. 85.
- ¹⁰ *Там же*. — С. 145.
- ¹¹ *Васильюк Ф. Е.* Психология переживания. — М., 1984. — С. 83.
- ¹² *Рубинштейн С. Л.* Проблемы общей психологии.
- ¹³ *Там же*. — С. 262.
- ¹⁴ *Там же*. — С. 259.
- ¹⁵ *Васильюк Ф. Е.* Психология переживания. — С. 86.
- ¹⁶ *Рубинштейн С. Л.* Проблемы общей психологии. — С. 382.
- ¹⁷ Кажущийся порочный круг (практика строится по логике жизненных отношений и одновременно оказывается их осно-

вой) размыкается там, где сама деятельность находится в процессе становления. Взаимодействие с миром маленького ребенка происходит отчасти спонтанно, не будучи обусловлено какой-либо конкретной жизненной необходимостью, кроме необходимости самого взаимодействия, частично же протекает в форме деятельности, совместно распределенной с матерью, которая организует ее в соответствии с логикой ее жизненных отношений.

- ³⁸ Мы будем рассматривать в качестве отличительного признака деятельности то, что она непосредственно отвечает такому воздействию (объекту, явлению), которое значимо для жизни субъекта не само по себе, а в силу своей объективной устойчивой связи с другими, уже непосредственно значимыми воздействиями (Леонтьев А. Н. Развитие психики: Дис. док. пед. наук. — М., 1940. — С. 371).
- ³⁹ Напр.: Дилigentский Г. Г. Проблемы теории человеческих потребностей // Вопр. философии. — 1976. — № 9; 1977. — № 2; Буева Л. П. Человек: деятельность и общение. — М., 1978; Донченко Е. А., Сохань Л. В., Тихонович В. А. Формирование разумных потребностей личности. — Киев, 1984; Иванчук Н. В. Потребности социалистической личности. — М., 1986.
- ²⁰ Иванников В. А. Проблема потребности в теории деятельности // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Психология. — 1983. — № 2.
- ²¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 3. — С. 36; Т. 42. — С. 125.
- ²² Василюк Ф. Е. Психология переживания. — С. 94—95.
- ²³ Там же. — С. 106.
- ²⁴ Волков Б. С. Мотивы преступлений. — Казань, 1982.
- ²⁵ Вильюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. — М., 1976. — С. 88.
- Леонтьев Д. А. Структурная организация смысловой сферы личности: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. — М., 1988.
- ²⁷ Батищев Г. С. Нравственный смысл и содержание всестороннецелостного развития человека // Нравственный прогресс и личность. — Вильнюс, 1976. — С. 115.

Б. А. Парахонский

**1. Семиотический субъект
и субъект познания**

Проводится философско-семиотический анализ понятия субъекта познавательной деятельности. Семиотический субъект рассматривается как система знаковых отношений, позволяющая индивиду войти в мир коллективного сознания. Это особый механизм интеграции психической жизни индивида и форм жизни коллектива. Субъект познания в этом контексте может изучаться как сложно организованный субъект, включающий множество семиотических механизмов, ориентированных на поиск истины.

Вопрос о субъекте познания можно отнести к вечным философским вопросам, которые решаются на каждом этапе развития познания по-своему. Является ли человек лишь орудием и средством познающего себя мирового разума или человек есть субстанциональный носитель активности в познании реальности? Между этими крайними позициями — абстрактного субъекта и субъекта психологического — находятся возможные представления о субъекте. Наша философия стремится синтезировать эти крайности с помощью категории практики, когда субъект познания одновременно является и субъектом истории. Признание справедливости общих положений гносеологии о субъекте познания не может заменить поиск конкретных структур организации субъекта. Дело обычно ограничивается констатацией положения о том, что субъектом является индивид, овладевший достигнутым потенциалом культуры и знания, включенный в общественно-практическую систему познавательной деятельности. Углубление этого представления предполагает изучение деятельности конкретных людей, осуществляющих процесс познания, совершающих открытия и научный поиск. Только этим путем можно спуститься с высот обобщенного философского анализа к конкретной исторической реальности, к событиям и фактам процесса познания.

© Б. А. Парахонский, 1990

Абстрактное представление о субъекте реконструируется из наличия некоторого накопленного знания¹. Здесь как бы предполагается, что если существует некоторое знание, то должен существовать и носитель этого знания, неважно, бог это или человек, то и другое — абстракция. Подобным образом считается, что если существует некоторый язык, тексты, написанные на каком-то языке, то должны существовать и люди, которые на этом языке говорят или говорили, если есть текст, то есть и его читатели. Тот, «кто» знает или говорит, существует тогда не как личность, конкретный человек, но как абстрагированный из знания или текста субъект. Таковы корни «эпистемологии без познающего субъекта», трансцендентализма, кантовской позиции и т. п. Некоторая абстрактность в понимании субъекта принадлежит и философии марксизма, когда подлинным субъектом объявляется не индивид, но народные массы, творящие историю.

Массы сами по себе не являются активными. Народ может весьма долго пребывать в состоянии полнейшей пассивности, никак не стремясь к прогрессу. Разрозненные индивиды, собранные в массу, представляют собой толпу, которая может быть активной, но активность эта слепа и необузданна. Она реализуется стихийно, без строго очерченных целей и достаточных к этому средств, направляется опять-таки отдельными индивидами, преследующими чаще всего свои цели. Следовательно, народные массы, чтобы выступать в качестве субъекта истории, должны быть организованы, и вопрос тогда в том, откуда берется эта организация. Она может складываться стихийно, путем накопления опыта, традиций, т. е. приходит со стороны коллективно организованного сознания. Коллективный субъект — это уже группа взаимосвязанных индивидов, обладающих общими структурами интенций, языком представлений, парадигмой и т. п. Сознание индивида включено в разные системы коллективной, практической и познавательной деятельности².

Различные системы коллективных форм сознания становятся возможными лишь при наличии устойчивых схем коммуникации между индивидами и, разумеется, форм коллективной деятельности, в которых требуется достижение взаимопонимания. Любой язык поэтому представляет собой форму коллективного сознания. Ясно, что это сознание является коллектив-

ным по своей организации, оно более устойчиво, чем психика отдельных индивидов и их знания. В некотором роде оно доминирует в сознании индивидов, подчиняет психическую жизнь определенным структурам и схемам действия. В этих условиях легко возникает представление о том, что коллективное сознание есть нечто самостоятельно существующее, поскольку каждый индивид застает его как данное и не может изменить что-либо в его устройстве. В структурной антропологии эта позиция формулировалась положением «не мы думаем, но в нас думает».

Система коллективных представлений образует особый мир, в который должен войти индивид в процессе своей социализации. Вместе с тем сознание каждого индивида целостно и составляет также свой мир, где, в частности, интегрируются и разные формы коллективного сознания. Взаимодействие этих двух систем сознания составляет одну из существенных сторон интеллектуальных процессов общества. Чтение книги — процесс, включающий не только понимание одним индивидом идей и мыслей другого, но также создание некоторых общих структур взаимопонимания, отслаивающихся, в конечном счете, в языке культуры³. Но чтобы читать, писать, говорить, общаться каким-либо образом, индивиду нужно включиться в систему условностей, очерчивающих эти процессы. Сложность состоит в несоразмерности структур живого сознания индивида и сознания коллективного, которое представляет собой продукт многих поколений, омертвленный труд. Чтобы преодолеть эту несоразмерность, формируются особого рода механизмы, к числу которых относится и семиотический субъект.

Субъект этого рода — это тот, кто рассказывает, тот, кто знает, тот, кто говорит индивиду, репрезентируя собой коллективного или всеобщего субъекта⁴. В известной мере это тип абстрактного субъекта, поскольку он реконструируется из текста, представляет собой систему знаков. Но это — культурно заданная абстракция, результат эволюции механизмов взаимодействия коллективного и всеобщего сознания с индивидуальным, тогда как понятие всеобщего субъекта — результат философской рефлексии над механизмами познания. В этом плане семиотический субъект обладает статусом культурной реалии, и в той мере, в какой культура является активной, самодовлеющей

и доминирующей над индивидуальным сознанием, семиотический субъект также активен и противостоит всякому иному сознанию.

Коллективные формы организации субъективности составляют также особый план индивидуального сознания, надстраивающийся над формами его непосредственного включения в действительность. Можно сказать, что в то время как субъект реальный — практический и познающий — включается в мир действительных отношений, где он взаимодействует с реальными предметами, вещами, процессами или другими людьми, субъект семиотический конституирует сферу отношений возможного, мир возможного⁵.

В таком различии просматривается восходящая к Аристотелю дистинкция позиций поэта и ученого. Аристотель писал: «Задача поэта — говорить не о том, что было, а о том, что могло бы быть, будучи возможно в силу вероятности или необходимости. Ибо историк и поэт различаются... тем, что один говорит о том, что было, а другой о том, что могло бы быть. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории — ибо поэзия больше говорит об общем, история — о единичном»⁶.

Субъект познания и субъект воображения различаются согласно характеру той реальности, в которой они находятся и которая для них оказывается наиболее действительной. То и другое в конечном счете составляют лишь различные элементы реальности, по-разному осваиваемой и познаваемой человеком. Поэтому их позиции могут сближаться или расходиться в зависимости от той или иной эпистемической ситуации. Кардинальное сходство позиций поэта и ученого может усматриваться в том, что в обоих случаях сфера сознания оказывается разделенной функционально: одна его плоскость повернута в область жизненных отношений, быта и непосредственного существования, тогда как другая — в сторону создаваемой или познаваемой реальности, мир смыслов или абстрактных соотношений. Отличие художника может быть в том, что он более непосредственно переносит свои жизненные ситуации и отношения в мир воображаемого и осмысливаемого, и делает это иначе, нежели ученый, конституирующий мир знания. Для Аристотеля поэт ближе к философии, чем историк, фиксирующий факты, но ведь и в творчестве последнего немало от того, что может быть подсказано

воображением и тогда возможное представляется в качестве действительного.

Семиотический субъект реконструируется на основе определенного рода текстов, связанных с функционированием какого-либо языка, знаковых систем, систем норм и обычаев и т. д. Если есть текст на определенном языке, то есть и тот, кто говорит его. Тот, кто говорит, — это не обязательно тот, кто произносит, т. е. исполняет текст. Субъект говорения или автор лишь может просматриваться через данный текст, угадываться через него. Во многих случаях установление авторства и вовсе невозможно. Авторство может принадлежать коллективному сознанию, где существует сложный механизм взаимодействия индивидуальных сознаний и коллективных языковых норм и структур. Так, фольклор — чрезвычайно сложная система коллективного творчества, предполагающая условно наличие коллективного субъекта: «говорят, что...», «рассказывают...». Тот же, кто действительно создал текст, скрывается за этой маской безличного. Различие между действительным субъектом и тем, который реконструируется из текста, составляет границу, не менее значительную, нежели та, которую И. Кант проводил между явлением и вещью-в-себе.

Различие между так называемыми субъектом-в-себе и субъектом-для-нас может быть также достаточно условным. Наша реконструкция семиотического субъекта тоже может быть различной в зависимости от нашей системы понимания и интерпретации текста. Тем не менее в большинстве случаев можно считать, что мы владеем тем языком (или системой языков и кодов), на котором написан текст. Соответственно, семиотический субъект также реконструируется более или менее надежно, т. е. всегда фигура говорящего может быть угадана, так же как, впрочем, и фигура предполагаемого текстом слушателя. Как справедливо отмечает Р. Барт, «задача состоит вовсе не в том, чтобы проникнуть в мотивы повествователя или понять эффект, производимый рассказом на читателя; она в том, чтобы описать код, при посредстве которого повествователь и читатель обозначаются на протяжении всего процесса рассказывания»⁷.

В литературном процессе часто встречаются ситуации, когда автор действительный скрывается за воображаемым. Вальтер Скотт долго скрывался как автор исторических романов и реально был известен

только как поэт. Можно также вспомнить Оссиана или Клару Гасуль, которые — не просто вымышленные имена, а вымышленные авторами со своей биографией-легендой. На столкновении планов вымышленного и реального авторства строились игровые модели символов и т. д. Поэт не желает говорить от своего лица, поскольку он входит в особый символический ряд, где выполняет функции особого субъекта, его цели, смыслы и ценности могут сильно отличаться от тех, которыми он руководствуется в реальной жизни⁸. Вместе с тем возможно и для отдельного писателя свою жизнь или какие-то ее факты сделать литературным событием.

Такие ситуации, впрочем, характерны не только для системы литературы, но и вообще для развертывания систем коллективного сознания, когда важным становится не сам индивид, а его роль в общем процессе, его функция в системе целого. Важно не действительное состояние и положение индивида, а его возможный статус, который переходит и в реальный. Лжедмитрий становится царем московским благодаря устойчивому предположению, что он сын Ивана Грозного. Е. Пугачев поднимает народное восстание, поддерживая свою значительность убеждением, что он и есть царь Петр III. Более сложные ситуации возникают в истории, когда одно и то же лицо раздваивается в бытийном и символическом рядах. И. Бестужев-Лада показывает, что Сталин как реальная личность и Сталин как символ определенной идеологии, системы ценностей — суть вещи разные, и в массовом сознании сформирован символический образ, а это далеко не то, что собой представляет человек в действительности⁹.

В сфере познавательных отношений дело обстоит несколько иначе. Ученый не только не скрывает, как правило, свое авторство, но напротив — отстаивает его и защищает от возможных обвинений в плагиате. Однако если ученый и не прячется за чужим именем, то все же организация сферы субъективности в познании построена таким образом, что всякий индивид здесь как бы скрыт за некоей универсальной маской Всеобщего субъекта и говорит от его лица, а не от своего собственного. В противном случае ученого упрекают, что его высказывания есть лишь его личное мнение и связано со случайностью, а не с истиной и необходимостью. Споры о приоритете, таким образом,

сводятся не к поиску истинного автора, а к тому, чтобы установить имя того пророка, который и передает откровение со стороны всеобщей истины. Очень часто в методологии науки эту маску изображают в качестве реального субъекта познания. Это, конечно, иллюзия, затушевывающая действительные отношения субъективной организации познания.

Нельзя, разумеется, отрицать значение для познания конструирования этой фигуры Универсального носителя знания (Разум, Бог и т. п.) в качестве своего рода семиотического субъекта в системе науки и ее языка. Однако несомненно также, что эта фигура актуальна в качестве методологическом, но отнюдь не в онтологическом — как элемент научной картины мира. Ученые как раз и отвергают существование всеобщего разума в своей системе представлений о мире (начиная еще с Лапласа, который заявил Наполеону, что не нуждается в представлении о боге).. Однако отвергая бога онтологически, ученые протаскивают его в сферу научного сознания в методологическом смысле, в виде всеобщего и необходимого Знания, автора всех научных текстов.

Научное сознание предстает тем самым как система коллективного сознания и обезличенного авторства. Справедливо поэтому сопоставление этой системы с фольклором, мифологией и т. п. именно в плане организации (а не в плане отражения реальности). В научной литературе принято пользоваться безличными оборотами. Реже говорят: «Я так считаю», гораздо чаще: «Дело обстоит таким образом, что...». Это усугубляется еще и тем, что в действительности в науке стремление говорить от первого лица выглядит достаточно нескромным.

В науке проявляется особая форма скрывания своего лица, одевания всеобщей маски. Цитата, ссылка на авторитет — признаны и упрочены в системе научного сознания. Посредством цитаты ученый оказывается в состоянии наращивать достоверность того относительного знания, которое ему желательно высказать в своих текстах. Апелляция к авторитетам или даже просто к напечатанному слову делает собственное высказывание столь же достоверным, включает в контекст ряда высказываний, т. е. в своего рода интертекст. Правда, часто в обширном потоке литературы стремление автора сказать свое слово сводится к междометиям или соединительным словам, а

на деле лишь пересказываются чужие слова. Однако и тогда считается, что пересказать своими словами смысл чужих — значительное достижение. На деле это лишь форма ученичества, когда интертекстуальный массив научных высказываний переводится на индивидуальный язык.

Проблема состоит в том, чтобы выяснить статус семиотического субъекта в системе организации познавательных отношений. Ученый включается в различные системы семиозиса — языковые, культурные, поведенческие, — в каждой из которых существуют свои формы семиотического субъекта. Мы имеем дело, таким образом, с миром возможного, вторичного сознания, которое надстраивается над непосредственно-практическим и взаимодействует с универсальными и безличными структурами знания¹⁰. Важно при этом обнаружить и связать в единое целое те отношения, которые возникают в ситуациях взаимодействия субъекта, дискурса и самой реальности.

Существующие модели коммуникативных процессов опираются на схемы передачи информации, сообщения от одного субъекта к другому. Основным элементом оказывается сам текст, сообщение, которое передается. Но тогда организация субъекта, понимающего и говорящего, вовсе игнорируется, так как представляется в виде принимающего или передающего устройства. Однако именно от организации субъекта, а не от каналов коммуникации зависит в первую очередь, будет ли сообщение понято и воспринято так, как нужно.

Основным опосредующим звеном между реальным субъектом и самим текстом, сообщением является семиотический субъект — некая структура отношений и знаков, обладающая граничным характером. Она связана с пониманием текста и с миром сознания общающихся индивидов. Различие между реальным индивидом и условным, воображаемым автором существует, когда возникает более или менее устойчивая система коллективного сознания: в литературе, науке, философии, мифологии, религии, правосознании и т. п. Неизвестно, реальна ли фигура Иисуса Христа, но он существует как вполне реальный автор высказываний в текстах Евангелия и в сознании многих поколений верующих. Неизвестен автор «Слова о полку Игореве», но как семиотический субъект его сознание может быть вполне реконструировано. Пред-

полагаемый автор может совпадать с одним из персонажей, но здесь следует различать их функции: персонаж — это все же элемент языка произведения, у него та же функция, что у понятий, абстракций, категорий в научном тексте, тогда как предполагаемый автор — элемент рамки, каркаса сообщения, моделирующего возможный мир в целом.

Предполагаемый читатель — также элемент рамки, а не мира текста. Это некоторый возможный адресат, модель или образ субъекта на другом конце коммуникации. Его отношение к реальному читателю аналогично и вместе с тем обратно направлено тому отношению, которое существует у реального автора к автору моделируемому. Гомер, создавая поэмы, ориентировал их на свой образ читателя, хотя реально его теперь читает лишь современный человек, далекий от представлений самого поэта. Каким-то образом потенциальный читатель Гомера включен, видимо, и в нашу систему субъективности, ибо иначе мы не смогли бы его понимать. Напротив, и это свидетельствует об определенном однонаправленном движении культурного развития, современный автор не во всем может быть понят читающей публикой прошлого. К примеру, можно ли представить себе перевод стихов Маяковского на древнегреческий язык?

Эти обстоятельства поднимают вопросы языка культуры и отношения языковой организации знания к той реальности, которая в нем фиксируется. Здесь, видимо, также можно выделять внутренний контур семиотической организации, ориентированный на текст, высказывание, и внешний — язык как система норм и правил (мир языка или языковая картина мира), сориентированная на реальность, которая фиксируется в языковых значениях.

Можно, таким образом, различать собственно текст как сообщение и то, что называют миром текста. Последнее включает не только смысловые константы, но и определенную прагматику, поскольку текст моделирует свою систему отношений с предполагаемыми автором и слушателем. С точки зрения мира текста реальный мир выглядит одним из возможных, так же как и все текстовые миры.

Научное знание не тождественно объективной действительности, и поэтому претензии знания на истинность всякий раз должны пересматриваться с точки зрения новой возможной организации знания. Знание

есть такая организация возможностей, которая предполагает и заявляет о себе как о реальной действительности на уровне ее сущности, декларирует свои представления как более подлинные, нежели сама реальность. В той мере, в какой в научном сознании проявляется эта позиция, оно представляет собой рецидив сознания мифологического.

С помощью соответствующих коммуникативных, языковых, интерпретативных механизмов конституируется особый мир знания, относительно которого формируется свой семиотический субъект, с позиций которого и формулируются сообщения о мире. Факты и опытные данные должны быть зафиксированы и должны получить такую форму осмысления, которая связана с организацией семиотического субъекта. В противном случае факт может быть упущен и отвергнут как недостоверный. Дело, конечно, не только в том, что существуют определенные парадигмы или программы исследований, а в том, что организуется некоторый универсальный язык общения ученых, который и ответствен за возможности развития познания.

Условно признается, что мир знания есть отражение реальности, но фактически отражение здесь отнюдь не непосредственное с точки зрения индивида и его способностей ощущать, воспринимать, мыслить. Индивидуальное сознание и мир знания опосредованы организацией коллективного сознания, системой возможных форм реальности, моделируемой схемами дискурсивности и языка науки. Ясно, что ощущения здесь отходят на задний план, и если в модели познания речь идет об ощущениях и восприятиях, то, очевидно, имеется в виду особый семиотический субъект с этими свойствами, а отнюдь не реальный индивид.

Точно так же в идеологической жизни представлено не отражение реальных отношений, которые управляют существованием индивидов, а воображаемое отношение этих индивидов к реальности, к тем отношениям, в которых они живут. Отсюда — консерватизм идеологической системы, поскольку фиксирование воображаемых отношений в качестве реальных более устойчиво, чем сами эти отношения. Однако текст (идеология, знание, сообщение) становится частью самой реальности, когда он включается в деятельность коллективных форм знания или в индивидуальное сознание. Когда идея становится мотивом

поведения, она включается и в самую реальную практику. Тогда граница текста и не-текста разрушается, и семиотический субъект переходит в статус субъекта реального.

- ¹ Основание вопроса об абстрактном субъекте лежит в плоскости организации мира знания как феномена культуры, что связано с его проявлениями в сфере создания текстов. Как справедливо отмечает В. С. Черняк, «знание не существует без субъекта, ибо «местонахождением» смысла, его пространством является деятельность, а не текст как таковой. Текст становится материальным носителем смысла лишь в контексте человеческой деятельности, выполняя коммуникативную функцию» (*Черняк В. С. О смысле понимания и понимании смысла // Вопр. философии. — 1982. — № 8. — С. 60*).
- ² Как показывает В. В. Столин, существуют различные уровни включения сознания в систему деятельности. На каждом из уровней самосознание индивида выступает как механизм обратной связи, «необходимый для интеграции активного субъекта и его деятельности». Активность субъекта проявляется в формах его органической активности, в системе коллективной предметной деятельности и в системе личностного развития субъекта, что связано уже с множественностью форм его деятельности (*Столин В. В. Самосознание личности. — М., 1983. — С. 270—271*).
- ³ *Парахонский Б. А. Язык культуры и генезис знания. — Киев, 1988.*
- ⁴ О субъективности в языке Э. Бенвенист высказывался в том плане, что ее возможность заложена в самой организации языка. Язык «всегда содержит языковые формы, приспособленные для ее выражения, речь же вызывает возникновение субъективности в силу того, что состоит из дискретных единовременных актов. Язык предоставляет в некотором роде «пустые» формы, которые каждый горящий в процессе речи присваивает себе и применяет к своему собственному «лицу», определяя одновременно самого себя как Я, а партнера — как Ты. Акт речи в каждый данный момент, таким образом, является производной от всех координат, определяющих субъект» (*Бенвенист Э. Общая лингвистика. — М., 1974. — С. 297*).
- ⁵ Вопрос усложняется тем, что в процессе рассказывания, т. е. порождения текста, также происходит определенное удвоение. Как отмечает Р. Барт, «Я производит два различных действия, разделенных во времени, — одно действие состоит в том, что человек живет (любит, страдает, участвует в различных событиях), другое в том, что он все это описывает (припоминает), рассказывает» (*Барт Р. Драма, поэма, роман // Называть вещи своими именами. — М., 1986. — С. 137*).
- ⁶ *Аристотель. Соч. В 4 т. — М., 1983. — Т. 4. — С. 655.*
- ⁷ *Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв. — М., 1987. — С. 410.*
- ⁸ В этой связи исследователями сформулировано понятие «sutute». Оно было введено Ж. А. Миллером, учеником Лакана, для обозначения момента, когда субъект помещает себя в некий символический регистр в маске обозначающего и, таким

образом, создаст приращение значений за счет существования. «Suture» элемент логики обозначающего, это своего рода «отношение субъекта к цепи его дискурса, общее отношение недостачи к структуре желания» (*Silverman K. The Subject of Semiotics. — New York, 1983. — P. 200.*)

Бестужев-Лада И. Правду и только правду: Размышления социолога о трагических страницах нашей истории и противниках перестройки // Вечер. Киев. — 1988. — 17 фев.

- ¹⁰ Как писал В. И. Вернадский, «настоящая среда, в которой живет ученый-исследователь, есть среда научных фактов, эмпирических обобщений и основных эмпирически выработанных аксиом и принципов природы». В то же время научные объяснения, законы, схемы — это как бы «рационалистическая сетка, которую наш разум набрасывает на сложный, эмпирически научно охваченный Космос. По существу, это есть неизбежное орудие нашей научной работы, но в то же время это есть искаженное выражение реальности» (*Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. — М., 1988. — С. 218.*)
Здесь, на наш взгляд, верно схвачена позиция субъекта познания, использующего выработанные исторически структуры субъекта семиотического. Последние опосредуют отношения субъекта и объекта в том отношении, что конституируют мир возможных законов и отношений как некую «рационалистическую сетку».

С. С. Гусев

2. Третий собеседник

Автор анализирует позицию «третьего», неявно присутствующую в ситуации диалога. Возможность эффективной коммуникации зависит от способности участников адекватно оценить действия другого, что связано с действием неких общих норм и стандартов. На этой основе вырабатывается представление о независимом от человека идеале мирового порядка, связанном с позицией «третьего лица», нейтрального по отношению к сфере взаимно пересекающихся интересов.

Растущий интерес к логико-семиотическому анализу коммуникативных процессов, а в более широком аспекте — и к изучению роли естественного языка в их реализации все отчетливей демонстрирует упрощенность и ограниченность традиционных подходов к этим темам. Хотя для большинства исследователей сегодня уже ясно, что один из главных вопросов семиотики — это выявление форм мысленного содержания, представленных в знаковой структуре, тем не менее довольно часто полученные результаты в рамках логического анализа рассматриваются лишь в качестве описания «правильных» способов человеческого рассуждения.

Такие представления неявно базируются на допу-

© С. С. Гусев, 1990

щении некоторого контекстно независимого содержания, выражаемого различными носителями языка. В этом случае акты коммуникации оказываются как бы фрагментами единого монолога, а сами индивиды теряют свои особенности и превращаются в нечто вроде универсального субъекта. Считается, что различие их позиций и интересов не оказывает существенного воздействия на сам ход общения.

Схематизм подобного подхода скрывает то обстоятельство, что в процессе обмена мыслями люди все не используют в явном виде весь объем относящейся к данной теме информации, а часто и сами не до конца могут осознать этот объем. Поэтому реальное взаимодействие (в том числе и коммуникативное) включает в себя определенные пробелы, заполняемые каждым из участников в соответствии с их субъективными целями и установками¹. Из этого следует, что ориентация на однородность когнитивного фона и фиксацию только истинностного значения используемых высказываний не учитывает глубинных слоев содержания коммуникативных процессов.

Конечно, человек взаимодействует с окружающим миром не «один на один», его субъективные цели всегда корректируются объективными факторами². Немаловажное значение имеют и стандартные формы поведения, обусловленные конкретными социально-культурными условиями. Одобрение или порицание со стороны других членов коллектива так или иначе влияет и на постановку индивидуальных целей и на их достижение.

Но разные люди могут оценивать какой-то мой поступок неодинаково как раз в силу того, что общая для всего сообщества информация представлена в каждом индивидуальном сознании не целиком, а это влияет и на различие в ее осмыслении. То, что мое поведение зависит от других членов сообщества, а их активность, в свою очередь, определяется моими действиями, размывает однородность когнитивного фона, порождает необходимость обосновывать и объяснять свое отношение к действительности. Наличие точки зрения, отличающейся от моей, лишает и мою собственную универсальность. Другое «я» входит в мои представления о мире в качестве элемента этого мира, что заставляет каждого из собеседников доказывать истинность своей позиции.

Поэтому настоящей основой рационального пове-

дения людей оказывается не монологическое предъявление истины, а диалог, в процессе которого истина оформляется. Сегодня это положение стало уже общим местом. Любая конкретная ситуация, в которой человек действует, явно или неявно ориентирует его либо на сотрудничество с другими членами сообщества, либо на их сопротивление. Это обуславливает тот факт, что реакция других людей на мои действия оказывается неким знаком, специфицирующим один из возможных в данной ситуации сценариев, по которым разворачиваются наши отношения.

Хотя сценарии подобного рода, как уже отмечалось, имеют стандартный для конкретного общества характер, люди осваивают их в соответствии с тем, как они понимают действительное положение дел, и тем, в каком направлении они хотели бы его изменить. Поскольку такие установки определяются во многом субъективно, постольку в реальной коммуникативной практике довольно часто возникают ситуации, при которых внешние правила построения диалога соблюдены, но взаимопонимание не возникает, так как каждый из коммуникантов интерпретирует результаты без учета восприятий другого. Примерами могут служить диспут Панурга и англичанина Таумаста, описанный Ф. Рабле, или «Безумное чаепитие» Л. Керолла.

Сложность логического анализа подобных ситуаций обусловлена во многом тем, что понимание (или непонимание), с одной стороны, определяется когнитивным фоном участников общения, содержанием их знания, направленностью интересов и пр., а с другой — особенностями передаваемого сообщения, его структурой. Это приводит к тому, что, получив некое сообщение, человек осваивает его содержание в соответствии с собственными установками, добавляет к чужому содержанию свой ассоциативный ряд, преобразуя, таким образом, исходную информацию.

Наиболее наглядно это проявляется в различных диалогах человека с ЭВМ, где ошибки и рассогласования различного рода часто вызваны приписыванием человеком своих смыслов тем вопросам или ответам, которые он получает от машины. И в этих случаях не всегда помогает ориентация на нормы правильности построения текста, с которыми традиционные подходы прежде всего связывают его непротиворечивость. Хорошо известно, что даже различные технические

инструкции, рассчитанные на полное совпадение позиций автора и тех, для кого предназначена эта инструкция, могут порождать недоразумения и неясности и оцениваться пользователями как внутренне противоречивые.

Нередко пытаясь воспроизвести только что воспринятое сообщение, мы можем услышать от его автора нечто вроде «Я этого не говорил» или даже «Я утверждал прямо противоположное». В подобных ситуациях приходится различать то, что *сказал* собеседник, от того, что он *хотел сказать*. Но полнота понимания предполагает еще и установление цели того, с кем мы взаимодействуем, получение ответа на вопрос, для чего он это говорит или делает? Только в этом случае используемая нами программа действий будет достаточно эффективна.

Следовательно, возможность коммуникации существенно зависит от того, как оценивает каждый из участников этого процесса тот или иной шаг своего собеседника. Но оценка, в свою очередь, связана с определенным представлением о желательном положении дел, проектом, определяющим стремления взаимодействующих людей³. В связи с этим каждый человек рассматривает происходящие события под углом зрения того, насколько они позволяют ему продвинуться в реализации проекта, в котором он заинтересован.

Тогда взаимодействие людей и коммуникативные процессы как неперенный элемент любого взаимодействия осложняются тем, что общественная практика имеет многослойную организацию, а различные ее типы ориентированы на различные целевые проекты. Поэтому и попытки теоретического осмысления данного обстоятельства предполагают введение определенной индексации, выделяющей различные типы рассуждений, связанных с разными формами человеческой деятельности.

Развитие такого направления логики, как анализ практических рассуждений, способствует решению данной задачи. В рамках этого подхода достаточно четко показано, что если теоретическое рассуждение направлено на обоснование знаний и потому базируется на установках универсального характера, то практическое предназначено для обоснования предметной деятельности и потому более существенно определяется конкретно-специфическими контекстами⁴.

Естественно, что и отношения теоретика и практика к одному и тому же факту или событию будут различны. Например, Б. А. Парахонский рассматривает случай предсказания, сделанного одним из античных прорицателей, который истолковал некое неординарное явление как знак будущей победы одной из борющихся партий, тогда как естествоиспытатель этой же эпохи увидел в данном случае аномалию, вызванную естественными причинами⁵. С точки зрения современного ученого второй тип объяснения более приемлем, так как может быть соотнесен со стандартами, действующими и сегодня, тогда как подход прорицателя представляется полностью произвольным. Однако не следует забывать, что сфера прорицаний в прошлом являлась не менее регламентированной, чем естествознание. В ней также действовали достаточно жесткие стандарты и нормы, определявшие и последовательность рассуждения, и его конечный результат, пусть не однозначно, но и не с любой степенью свободы.

Поэтому процедура абсолютно четкого разделения рассуждений на «умозрительные» и «практически ориентированные» представляется достаточно сложной. Обсуждая природу практического рассуждения, А. Т. Ишмуратов, например, оценивает высказывание «Сириус появился над Кассиопеей» как элемент практического рассуждения в том случае, где оно связано с действиями лоцмана, ведущего корабль в порт. Но это же утверждение характеризуется им как мистическое, если имеется в виду составление гороскопа астрологом. При общем сопоставлении этих двух ситуаций такая оценка представляется верной. Но если анализировать деятельность астролога более скрупулезно, то становится ясно, что для него «правильный» гороскоп является также вполне практической целью.

Таким образом, хотя диалог ученого и носителя магически-ритуального сознания обычно затруднен, ибо каждый из них основывается на различных представлениях и оценках, но в рамках каждой из этих сфер можно выделить свою область «практики», хотя критерии ее выделения в этих случаях принципиально не будут совпадать.

Это вызвано тем, что в ситуациях реального взаимодействия людей каждый индивид не только исходит из своего субъективно-личностного отношения к миру, но и осознает себя участником некоторой груп-

повой деятельности. И внутри каждой такой группы действуют свои стандарты, позволяющие отличать правильные действия от тех, которые запрещены в данной сфере.

Осознавая себя элементом некоторого коллектива, рассматриваемого в качестве «мы», участник конкретного коммуникативного акта воспринимает своего собеседника либо в качестве члена того же сообщества, либо как представителя предполагаемой иной группы, квалифицируемой в качестве «они». Тогда возможны ситуации вступления в контакт или отказа от него. Это определяется отношением каждого из участников к предполагаемой «чужой» группе, оценкой совпадения или различия их целей и интересов. Там, где люди по каким-то причинам не заинтересованы в поиске соответствий между своими установками, возникает запрет на восприятие чужой информации, разрыв коммуникативного процесса. Так, до недавнего времени идеологи американского молодежного движения выдвигали требование не верить тем, кому больше тридцати, «поскольку они все лгут».

В подобных случаях передаваемое одной из сторон сообщение расценивается представителями другой в качестве «непонятного», «бессмысленного» и пр. На это обращал в свое время внимание Б. Ф. Поршнев, отмечавший, что непонимание является не просто дефектом понимания, а представляет собой принципиально иную форму поведения, связанную с отказом от восприятия информации, неблагоприятной для данной группы или индивида. Непонимание с этой точки зрения есть возражение, неподчинение каким-то предполагаемым указаниям, навязываемым извне⁶. Таким образом, чужая точка зрения может восприниматься как непонятная лишь в контексте собственных установок и ожиданий, тогда как для противоположной группы она достаточно ясна и целесообразна.

В большинстве случаев люди имеют дело со стереотипными ситуациями, не требующими явного осмысления. Стандартные раздражители вызывают автоматические реакции. Понимание же оказывается необходимым там, где мы сталкиваемся с нетипичным случаем, в котором имеющийся автоматизм не срабатывает. Но сами такие ситуации не всегда сразу различимы. Привычность используемой в коммуникативном процессе формы может скрывать от внимания тот факт, что используемые стереотипы уже преврати-

лись в бессодержательные клише, перестали выражать актуальное содержание.

Разного рода прописные истины, используемые иногда в общении, именно в силу своей абсолютной автоматизированности могут блокировать понимание, разрывая коммуникативную цепь. В одном из рассказов знаменитого чешского писателя Карела Чапека «Эксперимент профессора Роусса» его герой — газетный репортер — на заданные экспериментатором вопросы, цель которых выявить ассоциативные ряды, имеющиеся в сознании репортера, отвечает клишированными наборами ничего не говорящих фраз. Подобие общения, не рассчитанное на понимание, оказывается лишь знаком отказа от взаимодействия в подлинном смысле.

Но осуществлению процесса коммуникации может препятствовать и предельная насыщенность используемой формы содержанием, слишком жесткая связь между тем, что требуется передать способом внешнего выражения информации. Принятые в одной группе обозначения и формулировки могут абсолютно ничего не значить для представителей другой, поскольку в этой последней то же самое содержание воплощается в принципиально иных стандартных формах. И традиционная для логики ориентация на максимальную точность выражения лишь осложняет установление контакта даже в том случае, если обе группы стремятся к нему.

В самом деле, чем больше уточнений вводит каждый из коммуникантов исходя из привычных для него критериев, тем строже условия, ограничивающие область, из которой члены другого коллектива выбирают средства, эквивалентные использованным их собеседниками. Поэтому обращение к менее жестким типам связи формы и содержания сообщений довольно часто оказывается гораздо эвристичнее и плодотворнее. В. И. Ленин не раз подчеркивал важность косвенных средств, позволяющих достигать нужной цели значительно эффективней, чем при попытке непосредственного движения к ней⁷. Как показывает опыт современной математики, стремление к точности, например, может реализовываться через неточные средства. Не случайно такой интерес вызвала идея «размытых множеств» А. Заде.

Таким образом, диалог, выражающий фундаментальный характер коллективности человеческой прак-

тики, оказывается существенно зависимым не только от установок и намерений каждого из участников взаимодействия, но и от тех формальных требований, норм, с помощью которых это взаимодействие организуется как некоторый «правильно построенный» текст. Тогда и сами цели человеческой деятельности в значительной степени начинают определяться имеющимися в распоряжении людей средствами. Это означает, что в диалог включается «третий собеседник», роль которого начинают играть стандартные для данного сообщества установки, регулятивы и эталоны, ибо явно или неявно взаимодействующие индивиды соотносят свои действия как с ответными реакциями друг друга, так и с правилами, по которым строится их общение. Эта ситуация «присутствия» собеседника, к которому не обращаются непосредственно, но учитывают его наличие, — наглядно выражена в некоторых требованиях этикета, регламентировавших жизнь древних сообществ. Например, простой смертный обычно не мог прямо говорить с царем, он говорил «в присутствии царя». Это обстоятельство определяло форму изложения сообщений и влияло на отбор используемой информации.

Но и сегодня наше общение в существенно важных чертах определяется множеством стандартов, имеющих социокультурную, профессиональную или просто групповую природу. Конечно, в обыденной действительности люди чаще всего не апеллируют прямо к явно осознаваемым коллективным установкам, исходя из как будто бы исключительно субъективно-личностных интересов и импульсов. Но более тщательный анализ обычно обнаруживает индивидуально трансформированную, но достаточно инвариантную для некоторого социума рациональную базу деятельности каждого индивида.

Любая личность социально и исторически конкретна и потому не свободна от воздействия совокупного опыта. Но этот опыт, как уже отмечалось, не раскрывается для каждого отдельного человека во всей своей полноте. Люди осваивают его содержание в той мере, в какой этого требуют общественные функции каждого. Чем в большее число социальных связей включен человек, тем больший спектр смысловых норм и стандартных поведенческих установок ему необходимо освоить. Но тем самым увеличиваются возможности его творческого отношения к своей де-

тельности, ибо он может оперировать широким набором возможностей, в отличие от тех, кто замкнут в жесткую схему однозначного алгоритма.

Однако само общество как некоторая системно организованная структура на любой ступени своего существования испытывает потребность в достаточно универсальной и устойчивой форме организации коллектива, воспроизводимой с той или иной степенью вариабельности в каждом конкретном деятельностном акте. Хотя сущностная природа такой организации довольно редко адекватно осознается людьми, реализующими какой-то конкретный тип общества, тем не менее даже искаженное представление о своих отношениях с окружающими определяет критерии «правильного» поведения, принятые данным коллективом. Выражая в предметно-деятельностной сфере содержание своих мыслительных процессов, человек как бы рассматривает их со стороны и вырабатывает навыки наиболее оптимальной организации интеллекта в соответствующих реальных условиях.

С этой точки зрения вряд ли можно объяснить случайным совпадением наличие среди палеолитических изображений серии устойчивых композиций, имеющих характер явной «сконструированности». При этом специалисты отмечают, что регулярности, лежащие в основе подобных конструкций, выражают не столько периодичность природных процессов, сколько отношения, сложившиеся внутри человеческих сообществ. Поэтому «искусственный» характер таких композиций обусловлен, по мнению археологов, коллективными целями, т. е. имеет социальный характер⁸.

Устойчивость и регулярность, обнаруживаемые в древнейших изображениях (насечке, орнаменте и пр.), возможно, играли роль своеобразных «опорных точек», на которые ориентировалось первобытное сознание в своем становлении. Подобно тому как «ручное мышление» делает для ребенка наглядным содержание интеллектуальных операций, осуществляемых им, упорядочение изображений, порождавшихся психикой древних людей, способствовало выработке эффективных и потому становившихся стандартными приемов самих мыслительных действий. Так постепенно складывались представления о существовании некоторого, независимого от человека, идеала (канона, эталона, образца) мирового устройства, с которым необходимо соотносить свои поступки для того, чтобы

наиболее эффективно добиваться желаемых результатов. Степень их соответствия определяла оценку деятельности людей как правильную или неправильную.

Подобная ориентация на некоторого «третейского судью», контролирующего поведение человека, оказывалась настолько социально важной, что влияла и на форму осмысления тех связей, с помощью которых общество организовывалось в определенную целостность. Не случайно исследователи, анализирующие процесс разложения первобытной общины, отмечают особую роль «третьего лица», т. е. человека, не входящего в систему кровно-родственной семьи и потому размывавшего границы отношений «ты — я», которые были характерны для родового общества⁹.

Осознание того факта, что успешность и результативность деятельности первобытной семьи во многом зависит от людей, с которыми она взаимодействует и которые находятся вне привычного круга кровного родства, не только расширяло область возможных деятельностных сценариев, но и обеспечивало переход на более высокий уровень представлений о мире и способах воздействия на него. Тем самым диалог, отражающий древние пласты человеческих коммуникаций, становился более сложным и многоуровневым, ибо его успешность теперь предполагала не только учет возможных реакций тех, с кем идет непосредственное общение, но и корреляцию действий каждого из участников с некоторым стандартным набором правил и критериев, обязательных для всех, включенных в коммуникативный процесс.

Это существенно усложнило контроль за правильностью организации самого человеческого общения, поскольку требовало, наряду с оценкой успешности совпадения своих действий с ответными реакциями собеседника, фиксировать степень соответствия как своего, так и чужого поведения, тем правилам, которые являются эталонными для данных конкретных условий. Ясно, что чем более четко сформулированы такие правила, тем проще осуществить контроль за их выполнением. Идеалом оказывается полная формализация эталона, во всяком случае — стремление к ней.

Все это обусловило появление целого слоя специализированных языковых средств: стандартных оборотов речи, правил построения различных видов текстов (например, кодексов), а также и особых языков,

предназначенных для конкретных деятельностных ситуаций. Само использование какого-то из подобных языков оказывалось знаком определенного типа отношений, в которые вступали те, кто начинал использовать эти языки. Ритуальные формулы, теоретические рассуждения и т. п. обозначают достаточно узкую сферу, в которой они являются по-настоящему релевантными средствами оформления мыслительного содержания и его выражения вовне.

Следует учесть, что жесткая организация языка существенно влияет не только на характер коммуникативного процесса, но и на содержание передаваемых сообщений. Например, некоторые исследователи обращают внимание на тот факт, что используемые в научной практике формализмы могут даже задавать направленность рассмотрения предметно-содержательной области, для описания которой они предназначены. Так, физики вынуждены вводить в свои модели параметры, которые выглядят необязательными с точки зрения чисто физического подхода, но диктуются особенностями математического языка, с помощью которого оформляется физическая теория. В этом случае возникает различие между «физически необходимыми» и «формально удобными» характеристиками, что влияет и на результаты исследований¹⁰.

Таким образом, формальные средства общения оказываются столь же существенными участниками коммуникативных процессов, как сами люди, а потому диалог становится слишком узкой моделью общения. Логико-семиотический анализ как мыслительной, так и предметно-практической деятельности человека должен учитывать это обстоятельство.

¹ Петров В. В. Язык и логическая теория: в поисках новой парадигмы // Язык и логическая теория. — М., 1987. — С. 19.

² Ленин В. И. Полн. собр. соч. — Т. 29. — С. 198.

³ Ивин А. А. Ценности и понимание // Вопр. философии. — 1987. — № 8. — С. 33—34.

⁴ Ишмурагов А. Т. Логический анализ практических рассуждений. — Киев, 1987. — С. 3.

⁵ Парахонский Б. А. Ценностно-коммуникативный аспект практических рассуждений // Филос. науки. — 1987. — № 6. — С. 58.

⁶ Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. — М., 1974. — С. 196—198.

⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч. — Т. 29. — С. 252.

⁸ Антропоморфные изображения. — Новосибирск, 1987. — 223 с.

- ⁹ Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. — Л., 1986. — С. 23; Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. — М., 1983. — С. 215.
- ¹⁰ Петров А. Скрытая математика и нейная роль във физиката // Философска мисъл. — 1980. — Кн. 7. — С. 86—96.

Г. Г. Почепцов (мл.)

3. «Тройное означивание» в структуре семиотического процесса

Рассматриваются различные стратегии означивания в процессе семиозиса, в связи с чем выделяются основные ориентации знакового процесса на я-, ты- и он-структуры. Дается развернутое описание функционирования этих структур и их взаимодействия в различных ситуативных контекстах.

Недостаточность знаковой модели, базирующейся на теории Соссюра, заключается в том, что она замыкает знаковость на самый низший с точки зрения сигнификации уровень — уровень слова. Сходную с Соссюром позицию защищал Э. Бенвенист, утверждавший, что с предложением мы покидаем мир знаков¹. Ч. Пирс имел более коммуникативное, чем системное представление о знаковой ситуации, ибо он расширял свою триаду «знак — объект — интерпретант», подключая к ним еще и говорящего, и слушающего. Он же справедливо придавал знаковый характер и мысли, и даже человеку.

Ч. Пирс в письме Виктории Вельби писал: «Существует *Интенциональный* интерпретант, который определяет разум говорящего; *Эффективный* интерпретант, определяющий разум слушающего, и *Коммуникативный* интерпретант, или, можно сказать, коминтерпретант, который определяет тот разум, в который должны слиться разум говорящего и разум слушающего, чтобы любая коммуникация имела место»².

Обладая таким расширенным пониманием семиотического процесса, можно увидеть в структуре порождения знаковости три отдельных процесса означивания. При этом важно посмотреть на процесс порождения знаковости детальнее, поскольку как семиотическая, так и коммуникативная теории основное внимание уделяют процессу передачи информации, а не ее порождению.

Строя свое высказывание, говорящий, несомненно,

© Г. Г. Почепцов (мл.), 1990

делает знаковым свой выбор, поскольку то, что он сообщает, оказывается достаточно четко выверенным с точки зрения ориентации (в том числе и этикетной) на собеседника. Мы говорим далеко не все, что хотели бы, ориентируясь при этом не просто на истину, а на коммуникативную истину³. Делая выбор между двумя высказываниями (соответствующими действительности, например, «У тебя помятое платье» и «У тебя красивая брошка»), говорящий изберет более этикетное высказывание, действующее в сторону улучшения облика собеседника.

Тем самым перед нами уже прошли два означивания. Избирая ту или иную мысль для выхода ее в качестве сообщения, говорящий вначале делает *выбор*. Совершая альтернативное означивание, говорящий останавливается на одном из возможных вариантов, тем самым производя первое означивание.

Второе означивание связано с ориентацией говорящего уже не на себя, а на собеседника: избранное сообщение получает то или иное оформление в соответствии с реальностью собеседника. Здесь вновь имеет место альтернативация.

Третье означивание представляет собой ориентацию на общественного собеседника, под которым будем понимать обобщенный образ того третьего, учет существования которого и его реакции на сообщаемое принимаются во внимание говорящим. Это могут быть, с одной стороны, неперсонализованные в реальном человеке общественные нормы, с другой — какой-то конкретный человек, которому, как думает говорящий, может быть передано данное высказывание. То есть, общаясь с собеседником, говорящий одновременно потенциально расширяет круг слушающих и, возможно, реагирующих. Литература при этом сознательно направлена на такой расширенный круг. Как писал Осип Мандельштам, «скучно перешептываться с соседом. Бесконечно нудно буравить собственную душу. Но обменяться сигналами с Марсом — задача, достойная лирики, уважающей собеседника и сознающей свою беспричинную правоту»⁴. В этих случаях говорящий, несомненно, учитывает это потенциальное расширение, ощущая дальнейшую возможную передачу его сообщения.

Мы назовем данные ориентации, реализующиеся в трех означиваниях, как я-структуры, ты-структуры и он-структуры. И прежде чем перейти к их более по-

дробному рассмотрению, попытаемся вычленить тот общий механизм, который лежит в их основе.

Процесс альтернативного выбора опирается на определенные семиотические представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо» в каждом данном участке порождающего процесса. Поскольку говорящий нечто произносит, а нечто не может произнести, то реально мы имеем процесс цензурирования, и понятие цензора становится понятием семиотическим. Осуществляя выбор из нескольких знаковых структур, мы тем самым часть из них (даже бóльшую) оставляем невысказанными. На выход, оформляясь словесно, поступает лишь малая толика того, что могло бы быть сказано. Человек говорящий не ощущает этого, поскольку полностью погружен в сиюминутный контекст, осуществляя концентрацию внимания на произносимом и произнесенном.

Говорящий управляет знаковой ситуацией, опираясь на свое понимание разрешенного (неразрешенного). Усиленный цензор-процесс может вообще уничтожить форму слова, как это случилось с исходным обозначением медведя. Сегодняшнее слово является описательным, а не настоящим, и появилось в результате вытеснения исходного. Такое давление общественной цензуры (не трогать хозяина леса даже словесно) привело к исчезновению слова из речи, а затем и из языка. Сегодня могут лишь строиться гипотезы о том, какова могла бы быть оригинальная форма этого слова.

Семиотическое цензурирование может состоять, например, в высмеивании детского рисунка, ошибок в поведении. И поскольку все отклонения сразу же попадают в поле зрения, именно они являются наиболее вероятными кандидатами на осмеяние. Как отмечают В. Живов и Б. Успенский, «немецкий кафтан на немце не значит ничего, но немецкий кафтан на русском превращается в символ его приверженности европейской культуре»⁵.

Легче в таких условиях удержаться не одному человеку, а школе, направлению в искусстве. Черпая поддержку друг в друге, создатели нового направления сами могут противостоять давлению среды. Они не ощущают себя изгоями в той степени, в какой это происходит с отдельным человеком (ср. полемику во время вхождения в искусство, например, импрессионистов). Признание того или иного направления рас-

тягивается даже не на годы и десятилетия, а на срок жизни целых поколений. (Ср. следующее высказывание: «Путь Джойса к русскому читателю оказался слишком долгим. Печально, что с «Улиссом» в полном объеме мы сможем познакомиться через шестьдесят с лишним лет после его публикации в 1922 году». — Лит. учеба. — 1988. — № 1).

Цензор-процессы в достаточной степени трудно управляемы, поскольку ситуации реально все время меняются. Поэтому, вероятно, они должны формулироваться в достаточно общих правилах. Но вместе с тем цензор-процессам легче опираться на прецедентность. Причем это достаточно консервативное явление: автор, книга, направление, раз попав в цензор-процесс, уже с большим трудом может из него выбраться. Возможно, это связано с определенным недоверием системы к личности, поскольку всякого рода новое нужно оценивать каждый раз с новых позиций. Как писал по близкому вопросу Г. Попов, «что собой представляет Административная Система в чистом виде? Пирамиду исполнителей. Они послушны и дисциплинированы, в идеале — добросовестны, в самом лучшем случае — фанатично преданны. Но по условию не могут генерировать новое, творить. В завершенном виде Административная Система может только реализовать замыслы Верха. И то не все. Только те, где не требуется творчества и инициативы, поиска и самостоятельности. Система в чистом виде может только подражать, повторять, тиражировать»⁶.

Таким образом, общение как семиотический процесс помимо передачи информации достаточно активно включает в себя и цензор-процессы. Причем цензор-процесс — это отнюдь не умолчание. Он может реализоваться и как усиленное говорение на определенную тему. Е. Тарле отмечал, что «основной наполеоновский принцип, между прочим, состоял в том, что газеты обязаны не только молчать, о чем прикажут молчать, но и говорить, о чем прикажут, и, главное, как прикажут говорить»⁷. И несколько десятков страниц спустя: «Но Наполеон не желал даже позволить газете молчать о том, что она не могла или не хотела говорить»⁸.

Цензор-процесс имеет как общественное, так и индивидуальное значение. В нашем обыденном общении мы также стремимся к этикетным фразам, создающим максимально положительный образ собеседника

или лица, с ним связанного. Точно так же действуют и процессы умолчания (ср. фольклорное правило «в доме повешенного не говорят о веревке»).

Существенная разница заключается лишь в том, что в этих случаях (общественный или индивидуальный цензор-процесс) мы сталкиваемся с фактами разной степени обобщенности, разного масштаба. Цензор-процессы в общественном разрезе неизбежно теряют интерес к личности, перемещаясь только на уровень своих интересов. М. Гершензон подметил много существенного в этом аспекте, разрабатывая тему единичного родового: «Но родовое понятие — как двулезвийный меч: оно отсекает личное не только в объекте, но и в самом наблюдающем. Пока я предстаю явлению как личность, я воспринимаю и его непременно как единичное. Ибо каждое явление есть своеобразный сплав неисчислимых признаков, из коих каждый принадлежит какой-нибудь родовой группе в мироздании, но моему личному восприятию нет дела до их родовой принадлежности: будучи само глубоко своеобразным, оно подбирает себе в цельный образ лишь те признаки явления, которые соотносительны моему собственному своеобразию. Здесь принципом отбора является целостная индивидуальность зрителя, и, следовательно, так составленный образ единичен по существу. Напротив, чтобы образовать родовое понятие, я должен как раз не дать возникнуть во мне такому личному образу; я должен взирать на вещи как бы безличным оком: я должен заглушить свое «я»⁹. Если цензор-процессы находят мотивировку в общественных интересах (а практически даже индивидуальные цензор-процессы имеют своей питательной средой только общественные интересы), то тем самым личные интересы оказываются неизбежно отодвинутыми на второй план.

Цензор-процессы, вероятно, необходимы как определенное базовое понятие, которое, по-разному преломляясь, дает нам все многообразие реализаций семиотических структур. Как писал П. Сорокин, «взаимодействие двух или большего числа индивидов есть родовое понятие социальных явлений; оно может служить моделью последних. Изучая строение этой модели, мы можем познать и строение всех общественных явлений. Разложив взаимодействие на составные части, мы разложим тем самым на части самые сложные социальные явления»¹⁰.

На существовании цензор-процессов покоится психотерапевтическая практика, вытекающая из учения Фрейда¹¹, основаны методологические построения в исторической науке, гласящие, что косвенные свидетельства имеют бóльшую ценность, чем прямые. Как отмечал А. Хокарт, «надписи редко бывают искренними, они часто льстят или носят «пропагандистский» характер. В любом случае они относятся к событиям, которые в то время казались наиболее значительными, но которые ни в коей мере не помогают нам понять развитие культуры. Горшки и кастрюли не лгут только потому, что не умеют говорить»¹². И далее: «Прямые свидетельства не только оказываются неспособными объяснить, они могут предложить неправильное объяснение, потому что они сообщают нам только часть фактов, хотя и кажется, что сообщают все»¹³. «Необходимо тщательно анализировать те сведения, которые не бросаются в глаза, о которых сообщается вскользь, мимоходом. Порой именно они являются наиболее достоверными свидетельствами»¹⁴. Все это связано как раз с тем, что прямые свидетельства, как правило, подвергались цензор-процессам, косвенные — в меньшей степени, поскольку внимание на них не распространялось в той же степени.

Возвращаясь к я-, ты-, он-структурам, следует отметить еще одну общую черту, лежащую в их основании: это другой, иной как семиотическое явление, и соответственно хранящиеся в «я» представления об ином.

Статус другого — это в принципе статус иносемиотического явления. Его существование никак не вытекает из существования «я». В противном случае он бы повторял определенные моменты исходного. М. М. Бахтин писал: «Высший архитектурный принцип действительного мира поступка есть конкретное, архитектурно-значимое противопоставление *я* и *другого*. Два принципиально различных, но соотносенных между собой ценностных центра знает жизнь; себя и другого, и вокруг этих центров распределяются и размещаются все конкретные формы бытия»¹⁵.

Пристальное внимание к проблеме другого позволяет увидеть, что Я и Иной обладают разными правами. Право на ложь (хотя бы спасительную) естественно только для Я. У Иного это сразу маска, неискренность. Право на единственно верную точку зре-

ния — тоже прерогатива Я. Точка зрения Я всегда стремится к тому, чтобы быть навязанной Иному. (Это расхождение в оценках, стремление навязать свои представления, Т. Ньюкомб¹⁶ положил в основание своей модели коммуникативного процесса¹⁷.) Полноценное Я (автономное, не ребенок) — это всегда Я, облеченное, как в тогу, в правоту. Во всех спорах оно более правомерное, оно исповедует более авторитетное мнение, оно опирается на знание истины в последней инстанции.

Появление еще одного Я сталкивает обоюдные требования, приводя к конфликту. Спасение от этой конфликтной ситуации общество видит в создании системы раздачи ролей, заранее определяющих, кто прав, кто виноват, кто правоверен, а кто еретик. Ведь начальник (подчиненный, командир), солдат, учитель (ученик, отец), сын и т. д. — все это заранее выданные индульгенции на правильное поведение и правильные мысли. И признать неправильность вышестоящего нельзя в рамках нежелательной системы, можно только разорвать ее, апеллируя, например, наверх.

Из этого видно, что по данному параметру коммуникация носит несимметричный характер. Одна ее сторона всегда более права, чем другая. Именно от этой стороны идет принципиально (априори) правдивая информация, которая может, однако, на ином этапе развития общества замениться на вновь правдивую информацию (которая явится полностью противоположной предыдущей). С другой же стороны, идет информация неопределенного заранее по правдивости характера. Это как бы слабый член оппозиции (по Н. Трубецкому), дополнительным же значением маркируется только сильный член.

Системы массовой коммуникации занимают принципиально полюс правильного говорения, оставляя для воспринимающих иной. Еще раз оговоримся, он отнюдь не обязательно лжив, просто он не маркирован. Следовательно, здесь возможна как правдивая, так и не очень правдивая информация. С этой несимметричностью связано массовое признание о сталинских временах. «Мы верили, что это враги народа». Это естественно, так как перед ними был полюс абсолютной правды.

Исходя из этих положений, следует возразить В. С. Люблинскому, считавшему, что письмо не носит классового характера. А ведь система письма все

время находится в руках «сильных мира сего». И следовательно, может нести в себе (из-за своей отчужденности) возможность использования его как в целях правды, так и в целях манипуляций и лжи. В. С. Люблинский писал о письме, «что оно существует как внеклассовое, общенародное; что на всех этапах своего развития письмо как вспомогательное средство общения людей в обществе было общим и единым для общества, равно обслуживающим членов общества независимо от социального положения»¹⁸. Сопоставление письма с языком, проводимое В. С. Люблинским, не совсем правомерно. В той мере, в какой язык есть явление естественное, в той же самой мере письмо — создание искусственного порядка. А раз так, то каждый этап его возникновения и существования может достаточно свободно контролироваться, и классовое общество тем самым имеет возможность легко вмешиваться в эти процессы. Да и сам В. С. Люблинский противоречит себе, отмечая, что «письменность позволяет обособлять, фиксировать, кристаллизовать определенную версию, формулировку, конкретизировать замыслы и тем самым пропагандировать (распространять) именно отобранную реакцию»¹⁹. Как видим, за счет письменности отмеченная нами несимметричность может усиливаться, поскольку и здесь происходит та же фиксация ролей: правильное (неправильное) говорение сменяется правильным (неправильным) письмом.

Данные замечания получают подтверждение в интересной идее Ю. С. Борисова, высказанной им на страницах «Комсомольской правды»: «К началу 40-х годов около 20 процентов населения все еще оставалось неграмотным. Среди секретарей райкомов и горкомов партии в это время более 70 процентов имели лишь начальное образование, а среди секретарей обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных республик — более 40 процентов. Естественно, что большинство этих людей испытывало большие затруднения в работе и нуждались в подробных инструкциях сверху. После войны дефицит образованных людей все еще был велик. Понятно, что это накладывало заметный отпечаток на деятельность людей, способствовало внедрению и упрочению культа личности»²⁰.

Добавим, что с одной стороны этой цепочки стоит профессионал, вооруженный теоретическим и практическим знанием законов воздействия, с другой же сто-

роны — всего лишь дилетант, получивший свое знание вне опоры на социальные обучающие институты. Это ритор ²¹ в отличие от толпы. Его речевое поведение в каком-то случае может оказаться и не соответствующим действительности, однако коммуникативно оно все равно будет нести правду для аудитории. Ритор — это профессионал правды, хотя бы коммуникативной. Его убеждающее воздействие оберегает аудиторию от ненужных сомнений.

Причем воздействуют на аудиторию дифференцированные риторические системы: не только печать, но и театр, не только телевидение, но и кино. И при этом в каждом из этих случаев действуют профессионалы. Профессионализация позволяет многие виды воздействия проводить в менее выпяченных формах. Даже наиболее простой вариант — зрелищное искусство — уже несет в себе иноинформацию: «В том или ином виде реклама присутствовала в любом жанре народного зрелищного искусства» ²². Кстати, и существование цензор-процессов связано именно с отмеченной выше несимметричностью коммуникативной цепочки. Это не столько говорение, сколько решение того, что и как следует говорить, причем часто исходя не из интересов правды в виде соответствия действительности (ср. выражение типа «это только окопная правда»), а в виде соответствия целям системы. Целевая переориентация может поменять законы правдивости. А они совершенно разные для разных жанров и для разных ситуаций. Правда оперетты и реалистической драмы не совпадает, хотя они, будучи театральными явлениями, казалось бы, должны идти на сближение ²³.

Я-, ты-, он-структуры, порождаемые говорящим, активно работают тогда, когда они покоятся в адекватном представлении о другом, на переносе на себя его характеристик.

В основе такого рода переносов лежат наши представления о другом, то общее, что лежит в основе каждого из нас. Эта общность сегодня называется «эмпатией» ²⁴. Агн. Звоницкая в 1914 г. вводила для этого другие термины: «Проективный и эктивный элементы представляют два полюса самосознания. На проективном полюсе данный индивидуум воспринимает свойства других личностей, приспособляется к окружающей психологической среде. Он приобретает свойства другого «я», критериями для «я» служит

«он». На эсктивном полюсе, наоборот, свое субъективное «я» является для данной личности критерием, применяемым к другим личностям»²⁵. И далее: «Эктивный момент представляет перенесение на другую личность тех личных свойств, которые преломились в субъективном самосознании»²⁶, т. е. увидеть в личности другого мы можем только то, что в той или иной степени присутствует и в нашей личности. Как справедливо отмечал Н. П. Ерастов, «эмоциональная идентификация (эмпатия) предполагает возможность понять чувства собеседника, сопереживать с ним, жить его чувствами. Эта способность самая «неуловимая» для анализа, но очевидная для всех общающихся людей»²⁷.

Как манифестируются в тексте я-, ты-, он-структуры? Наиболее яркие случаи встречаются, когда это деление поддерживается системой языка, например при помощи личных местоимений и соответствующих им глагольных форм. Однако грамматическая выраженность составляет лишь незначительную часть реального употребления. Гораздо чаще эти структуры проходят вне грамматики.

Так, Р. Барт справедливо выделил в качестве знака читателя, присутствующего в тексте, некоторые информативные аспекты повествования. «Всякий раз, когда рассказчик перестает «изображать» и приступает к сообщению фактов, прекрасно известных ему самому, но не известных читателю, возникает читательский знак: ведь нет никакого смысла в том, чтобы рассказчик сам себя информировал о том, что ему и без того известно. «Хозяином этого заведения был Лео», — говорится в одном романе, написанном от первого лица. Эта фраза есть знак, обозначающий читателя (...)»²⁸.

Очень частотны типы ты-структур в качестве этикетного оформления сказанного, «подлаживания» его под того или иного слушающего²⁹.

Он-структуры как потенциально расширяющие круг общающихся в некоторых случаях даже регламентируются юридически. Так, следственная комиссия по делу декабристов запрашивала и о том, почему, зная о планах заговорщиков, не доносили на них.

В свою очередь, системы массовой коммуникации часто моделируют свой воздействующий эффект не непосредственно в конечную точку, а сквозь влияние на читающего определенных авторитетов его уровня,

которые могут привлечь внимание, растолковать сказанное. Тем самым воздействие носит не непосредственный характер, а осуществляется опосредованно, сквозь лица окружения, и планируемый массовый эффект достигается в обыденном общении³⁰. Впервые с этой закономерностью столкнулись, оценивая уровень воздействия: он становился больше через несколько недель, а отнюдь не сразу после выхода сообщения. Как оказалось, к этому приводит дополнительное общение по затронутым темам с «лидерами мнений» данной малой группы, т. е. массовое сообщение получает увеличивающий его эффект в результате циркуляции его за пределами массовой коммуникации, в ситуации, которая лишь потенциально прогнозируется.

Другими словами, система он-структур в результате восприятия и понимания переводится в системы я-, ты-структур и лишь тогда полностью усваивается. При этом оценки, даваемые данной информации на уровне он-структур, не обязательно совпадут с оценками я-, ты-структур.

Я-, ты-структуры по ряду тематических областей оказываются более сильными и побеждают он-структуры: «Некоторые убеждения, как считается в Японии, возникают исключительно благодаря «изустной коммуникации», например репутация хорошего врача или уверенность в эффективности какого-то лекарства. Рекламной информации на эти темы по каналам массовой информации доверия значительно меньше. Эффективность «изустной коммуникации» считается очень высокой. Замечено, что если на основе этой коммуникации сформировалось какое-то мнение, а средства массовой информации, допустим, выступят с противоположным утверждением и опровержением, то это зачастую имеет прямо противоположный эффект и только укрепляет первоначальное мнение»³¹.

Перед нами важная закономерность общения. Говорящий и слушающий в своем обыденном общении оперируют в основном я-, ты-структурами, корректируя свои построения он-структурами. В случае же массового общения любые он-структуры будут иметь смысл не сами по себе, а лишь в проекции на я-, ты-структуры. Поэтому создатели сообщений массовой коммуникации не могут не учитывать этой существенной корректировки. Сильное расхождение между ни-

ми приведет к неприятию сообщения массовой коммуникации. Имея факт на уровне он-структур, мы должны строить его в контексте я-, ты-структур. Как эмоционально восклицает Л. Аннинский, «современная словесность, обрабатывающая миллионы фактов, обрабатывает их только через контексты не потому, что в редакции сидят Мюнхаузенy, а потому, что таков ход вещей (...). Попробуйте представить себе в современной прессе факт, сообщенный «просто так». Вне контекста. Без освещения. Без точки зрения. Уверю вас, это страшно. Это сигнал тревоги, это почти намек на конец света, потому что это намек на конец контекста. Этого человек уже не выдержит»³².

Я-, ты-, он-структуры вступают в сложные взаимодействия друг с другом. При одном и том же содержании возможно различное «выпячивание» данных структур, сознательное их сокрытие.

При желании оказать воздействие более выгодна стратегия объективности. Поэтому говорящий строит свои рассуждения так, чтобы я-структуры отошли в тень, акцент же делается на ты- и он-структурах. Речь начинает идти о положительных результатах для собеседника, для группы, для общества, но отнюдь не о выгодах самого говорящего.

При стратегии резистентности часты отсылки на сопутствующие обстоятельства, создание фиктивных сложностей, чтобы не произнести отсылку на собственное нежелание.

Ряд я-структур в реальности являются отсылками на он-структуры. Можно привести следующий пример из Г Шпета: «Такие выражения, как «*моя родина*», «*мое моральное сознание*», «*моя служба*», «*мои политические убеждения*» и пр., не только не указывают на меня как на «собственника», но прямо внушают мысль о моем участии в соборных отношениях, которые тут характеризуются указанием на «пункты», «объединяющие» некоторое *общее сознание*»³³.

Размытие он-структур характерно для ситуаций особой близости, в которых реализуется полная искренность. Поскольку в этих ситуациях возможен доступ к обычно закрытым данным, подобные ситуации иногда могут сознательно моделироваться.

При слиянии я-, ты-структур и исчезновении он-структур происходит снятие барьера недоверия, человек говорит все без утайки, значит, больше, чем он сказал бы в любом ином случае.

Можно привести следующие примеры подобных ситуаций:

а) искренность следует в ответ на искренность. Например, разговор двух влюбленных, которые могут даже говорить невнятно, но это им не мешает ³⁴;

б) разговор с незнакомцем (например, в поезде). Перед говорящим как бы нулевой собеседник, он может говорить без опаски, что возможно пересечение с кем-нибудь из знакомых, что история его станет достоянием гласности;

в) желание показаться выше: при этом происходит выдача информации с иерархически высшего уровня, чем реально свойственно данному говорящему.

Интересно, что и чисто физические условия общения тоже оказываются значимыми для проявления искренности: «Вот видите, милый друг, трудные разговоры нужно вести всегда в темноте, когда не видно глаз и не стыдно, — тогда люди договариваются до самого главного» (А. Толстой, «Человек в пене»).

Соответственно возможно искусственное моделирование некоторых из этих ситуаций в целях получения информации. В какой-то мере приемы эти безошибочны, поскольку: «как бы индивидуально ни были люди различны, есть типически общее в их переживаниях; как «откликах» на происходящее перед их глазами, умами и сердцем» ³⁵.

Вот некоторые модели.

а) тип «подсадная утка» — человек выдает себя за своего, чтобы получить информацию, доступную только для своих;

б) тип «этого вы знать не можете» — сознательное занижение информационных возможностей собеседника, который в ответ, пытаясь исправить свою ситуацию, выдает необходимую информацию;

в) тип «мы и так знаем» характерен для допроса. Выдача уже известной информации не так значима, как выдача неизвестной.

Данное явление мы хотели бы назвать «семиотической ловушкой», поскольку здесь происходит перенос свойств одной семиотической системы на другую, одного знака на другой. Он опирается на то, что человек забывает об условном характере знаковых систем и начинает рассматривать выдаваемые системой коммуникативные истины в качестве объективных.

Данные примеры касались семиотических процессов, но подобные ошибочные отождествления возможны и на уровне отдельных знаков. Приведем соответствующие типы этих ложных ассоциаций (в скобках примеры реализаций):

знак с человеком (человек, владеющий русским языком, совсем недавно рассматривался в Албании как ревизионист);

человек со знаком (зритель ассоциирует себя с героем мелодрамы, массовой литературы, начинает сопереживать ему. Или: «Назвать человека предателем — в некотором смысле то же самое, что засадить его в тюрьму, — оба эти акта являются символическими: *предатель* — позорное имя, тюрьма — позорное место»³⁶);

знак со знаком (активно используется в рекламе, где происходит, например, перенос положительных характеристик известного спортсмена на рекламируемый им товар. Или: «Тенденция создавать слова с положительной окраской особенно характерна для использования языка в сферах рекламы и идеологии»³⁷);

знак с объектом (лесть и вера в нее в политических рассуждениях может преломляться в правило: а) чем сильнее отрицаем врага, тем больший принесем ему урон; б) чем сильнее хвалим себя, тем больше принесем себе пользы);

объекта со знаком (березка как символ России даже за рубежом, хотя, по сути, дерево внационально).

В целом, оперирование со знаками заменяет оперирование с реальными объектами и носит достаточно распространенный характер. Оно возрастает по мере роста коммуникативных потоков в обществе, неизбежно опирающихся на знаковое представление информации.

Возможны процессы усиления роли я-, ты-, он-структур. Письма приносят интимность, точно то же происходит и в случае мемуаров. Как следствие, возрастает уровень участия я-структур. Система приказов, команд усиливает роль ты-структур, различие между «чинами» собеседников вновь привлекает внимание к ты-структурам, требующим особого оформления в случае большого разрыва между собеседниками.

Усиление он-структур возможно в условиях общей

опасности (ср. плакаты типа «Болтун — находка для шпиона», соответствующую массовую литературу, посвященную шпионам). 37-й год приносит страх даже к доверительному разговору. А ведь это тип разговора, как бы по определению подчеркивающий отсутствие в нем он-структур. Мы и называем его разговор тет-а-тет, наедине, без свидетелей. Однако и он в тех условиях не мог служить гарантией из-за массовости нарушений. Как пишет в журнале «Нева» (1988. — № 3) В. Чубинский, «к числу удивительных загадок 30-х годов относится то, что в охоте на ведьм участвовал каждый, пока его самого не превращали в ведьму. Партийные и иные кадры уничтожались последовательно, слой за слоем, и каждый очередной слой ревностно содействовал уничтожению предшествовавшего. Причем большинство делало это, конечно, в убеждении, что так и следует делать: кругом действуют враги, они коварны, они способны вовлечь в свои сети любого, даже честного в прошлом и заслуженного человека, и потому не нужно удивляться, если среди врагов оказываются члены партии, даже крупные деятели партии».

В средневековом Китае существовало ограничение следующего вида: «Всякий, кто донес на деда, бабу, отца или мать, подлежит удушению». То есть цензор-процесс и здесь устанавливает разрешенные (неразрешенные) объекты.

Интересно, что в норме даже доверительный разговор может оказаться бесполезным, если человек отказывается от своих слов. Необходимо наличие реального третьего человека (материализация он-структуры), чтобы слова говорящего обрели плоть и кровь юридического характера. То есть доказательная жизнь их возможна не в говорящем, не в слушающем, а только в дополнительном третьем лице. На отсутствии его строится масса непроверяемых на сегодня фактов в мемуарной литературе, вероятно полемика по тому или иному случаю. Но человека, говорящего «так было, ибо я так видел», трудно опровергнуть словами из сегодняшнего дня. Это возможно только равноценным взглядом оттуда. Так, В. Каверин в книге «Литератор» возражает, например, против фактологии ряда воспоминаний В. Катаева, которые мы, являясь неучастниками событий, воспринимаем в качестве документальных.

Следует еще раз подчеркнуть, что ориентация на

самого себя, собеседника и обобщенного третьего носит знаковый характер, поскольку основана на альтернативном выборе означивания и является реальным параметром построения правильного общения. Общение неправильное может нарушать эти закономерности, может сознательно строиться как бы на неучете их, преследуя при этом иные, дополнительные цели. Приведем некоторые примеры:

а) нарушение он-структуры — в пьесе Е. Шварца начальник полиции ходит в штатском, но в сапогах со шпорами, чтобы, подслушивая, все равно слышать только то, что положено;

б) нарушение ты-структуры — начальственное «ты», обращенное к подчиненному, — например, революционера Германа Лопатина пугали тем, что в тюрьме к арестантам обращаются на «ты»;

в) нарушения я-структуры — я-структуры представляют собой знаковую ориентацию на интересы говорящего. Это, например, клятва в средние века, но над сундучком, из которого предварительно изъяты святые мощи³⁸.

Семиотический статус я-, ты-, он-структур покоится на существовании на каждом из этих уровней своих цензор-процессов, ибо альтернативное означивание в них подчиняется закономерностям, раскрывающим разрешенность (неразрешенность) данных знаковых образований в данной знаковой ситуации. Разные языки имеют разные знаковые правила и соответственно разные знаковые цензор-процессы. Так, столкновение языковых структур с разными системами вежливости неосознаваемо создает различные возможности для нарушений. Например, разветвленная система выражения вежливости японского языка не совпадает с соответствующей системой языка русского, что отражается в переводах. «В одном переводе с японского на русский профессор, заведующий лабораторией, говорит *ты* всем подчиненным, что создает для русского читателя представления о его неинтеллигентности (...) Героиня пьесы М. Горького «Васса Железнова» говорит управляющему, образованному человеку, *вы*, а старшему брату, которого не уважает, — *ты*; в переводе Хидзиката Кэйта она говорит невежливо с управляющим как подчиненным и вежливо с братом как со старшим членом семьи»³⁹.

Социальные ситуации, являясь более значимым фактором, могут уничтожать эту характерную особен-

ность японского языка. Так, в цитированном японском исследовании говорится: «При нехватке продуктов в годы войны, когда покупка уже не могла рассматриваться как одолжение, вежливость продавцов резко снизилась⁴⁰. Сходные примеры есть и для русского языка. Д. С. Лихачев вспоминал, что «в 1936 или 1937 г. милиционерам и в приемных учреждений к посторонним (и проходящим и приходящим) было запрещено обращаться со словом «товарищ» и предложено говорить «гражданин». Милиционеры стали говорить вдруг: «Гражданин, вы нарушаете», или продавец стал говорить за прилавком «Граждане, не толпитесь». А все привыкли к слову «товарищ». Это был ужас какой-то. День стал темнее. Все попали в число подозреваемых. Так все это и поняли»⁴¹.

И в заключение отметим, что цензор-процессы могут порождать не только знаковые образования, но и знаковое молчание⁴². Приведем некоторые примеры: «В древней Индии уже существовало понятие врачебной тайны: сведения, получаемые от больного, не разглашались, если они могли произвести тяжелое впечатление на близких ему людей»⁴³.

Знаковое молчание может распространяться выборочно, выбирая те или иные средства фиксации. Так, у масонов «под страхом смертного наказания воспрещалось передавать масонские тайности перу, кисти, резцу, допускалась одна только устная передача тайн после предварительной клятвы в хранении молчания»⁴⁴. (Ср. пример с женой Н. И. Бухарина, которая письмо мужа хранила не в письменной фиксации, а в памяти, и лишь благодаря этому сохранила).

Таким образом, из всего изложенного можно сделать вывод, что структура семиотического процесса не заключается в свободной передаче информации. Подобные представления характерны лишь для упрощенных моделей. Как справедливо отмечали А. Брудный и Ю. Шрейдер, «аналогии между распространением информации и физическими процессами перемещения материальных тел следует проводить очень осторожно. Участники коммуникации образуют как бы особые участки каналов передачи информации. Количество информации, проходящей по каналу между двумя участками, определяется не только каналом (т. е. сообщениями в коммуникационной сети), но и свойствами интеллекта участников»⁴⁵. Реальное

же общение еще более сложно, чем самые утонченные наши рассуждения о нем. И в первую очередь эта сложность возникает за счет процессов порождения информации (в нашем варианте мы рассматривали их в аспекте альтернативного означивания). Одним из механизмов этого порождения является учет цензор-процессов, которые корректируют различного рода альтернативное означивание и даже осуществляют выбор форм фиксации: молчание (говорение), письменная (устная).

- ¹ Бенвенист Э. Общая лингвистика — М., 1974. — 447 с.
- ² Цит. по: Singer M. Signs of the self: an exploration in semiotics anthropology // Amer. anthrop. — 1980. — Vol. 82, — N 3. — P. 494.
- ³ Почецов Г. Г. Коммуникативные аспекты семантики. — Киев, 1987. — 131 с.
- ⁴ Мандельштам О. Слово и культура. — М., 1987. — С. 54.
- ⁵ Живов В. М., Успенский Б. А. Царь и бог: Семиотические аспекты сакрализации монарха в России // Языки культуры и проблемы переводимости. — М., 1987. — С. 72.
- ⁶ Попов Г. Система и Зубры // Наука и жизнь. — 1988. — № 3. — С. 60.
- ⁷ Тарле Е. Печать во Франции при Наполеоне I. — Пг., 1922. — С. 12.
- ⁸ Там же. — С. 31.
- ⁹ Гершензон М. Тройственный образ совершенства. — М., 1918. С. 37.
- ¹⁰ Сорокин П. Система социологии. — Ч. 1. — Пг., 1920. — Т. 1. — С. 81.
- ¹¹ Lacan J. The language of the self. The function of language in psychoanalysis. — New York, 1968. — 338 p.
- ¹² Хокарт А. М. Критерии оценки свидетельств // Природа. — 1985. — № 12. — С. 90.
- ¹³ Там же. — С. 94; а также: Иванов Вяч. Вс. «Труды и дни» Артура Хокарта // Там же. — С. 83—87; Старицын А. Н. [Реферат кн.] Wiseman T. P. Catullus and his world; a reappraisal. — Cambridge, 1985 // Реферат. журн. Общественные науки за рубежом. Сер. 5. История. — 1987. — № 1. — С. 165—168.
- ¹⁴ Старицын А. Н. [Реферат кн.] Wiseman T. P. Catullus and his world; a reappraisal. — Cambridge, 1985 // Реферат. журн. Общественные науки за рубежом. Сер. 5. История. — 1987. — № 1. — С. 165.
- ¹⁵ Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники Ежегодник, 1984—1985. — М., 1986. — С. 137; а также: Салувезр М. Э. М. М. Бахтин и проблемы моделирования естественного языка на ЭВМ // Модели диалога в системах искусственного интеллекта Уч. зап. Тарт. унта. Вып. 751. — Тарту, 1987. — С. 96—112; Patterson D. Michail Bakhtin and the dialogical dimensions of the novel // J. of Aesthetics a. Art Criticism. — 1985. — N 2. — P. 131—139.

- ¹⁶ *Newcomb T. M.* An approach to the study of communicative acts // Communication and culture. — New York etc., 1966. — P. 66—79.
- ¹⁷ *Фестингер Л.* Введение в теорию диссонанса // Современная зарубежная социальная психология: Тексты. — М., 1984. — С. 97—110.
- ¹⁸ *Люблинский В. С.* Книга в истории человеческого общества. — М., 1972. — С. 31.
- ¹⁹ Там же. — С. 54.
- ²⁰ *Борисов Ю. С.* Человек и символ // Комсомол. правда. — 1988. — 2 апр.
- ²¹ *Рождественский Ю. В.* Проблемы влиятельности и эффективности средств массовой информации // Роль языка в средствах массовой коммуникации. — М., 1986. — С. 7—45; *Безменова Н. А.* Массовая информация в свете «отраженной риторики» // Там же. — С. 82—99.
- ²² *Некрылова А. Ф.* Народная ярмарочная реклама // Театральное пространство: Материалы науч. конф., 1978. — М., 1979. — С. 336.
- ²³ *Ингарден Р.* Исследования по эстетике. — М., 1962. — 572 с.; а также: *Todorov Tr.* The poetics of prose. — New York, 1977. — 272 p; *Harvey J.* Anoth. A study in theatrics. — New Haven; London, 1964. — 191 p.
Басин Е. А. Творчество и эмпатия // Вопр. философии. — 1987. — № 2. — С. 28; *Белкин П. Г. и др.* Социальная психология научного коллектива. — М., 1987. — 214 с.
Звоницкая Агн. Опыт теоретической социологии. — Киев, 1914. — Т. 1. — С. 57.
- ²⁶ Там же. — С. 59.
- ²⁷ *Ерастов Н. П.* Психология общения. — Ярославль, 1979. — С. 83.
- ²⁸ *Барт Р.* Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв. — М., 1987. — С. 411.
- ²⁹ *Почепцов Г. Г.* Коммуникативные аспекты семантики.
- ³⁰ *Bettinghaus E. P.* Persuasive communication. — New York etc., 1968. — 308 p.
- ³¹ *Неверов С. В.* Язык как средство убеждения и воздействия в общественно-языковой практике современной Японии // Язык как средство идеологического воздействия. — М., 1983. — С. 215.
- ³² *Аннинский Л.* Мост между фактом и контекстом // Лит. Россия. — 1988. — 1 апр.
- ³³ *Шпет Г.* Сознание и его собственник. — М., 1916. — С. 51—52.
- ³⁴ *Маклюэн М.* Телевидение: Робкий гигант // Телевидение: вчера, сегодня, завтра, 1987. — М., 1987. — С. 167—180.
Шпет Г. Введение в этническую психологию. — М., 1927. — 147 с.
- ³⁶ *Болинджер Д.* Истина — проблема лингвистическая // Язык моделирование социального взаимодействия. М., 1987. С. 38.
Блакар Р. Язык как инструмент социальной власти // Там же. — С. 105.
- ³⁸ *Карсавин Л. П.* Культура средних веков. — Пг., 1918. 223 с.

- ³⁹ Аллатов В. М. Япония: Язык и общество. — М., 1988. — С. 57.
- ⁴⁰ Там же. — С. 59.
Лихачев Д. Чем несамостоятельнее любая культура, тем она самостоятельнее // *Вопр. лит.* — 1986. — № 12. — С. 123.
- ⁴² Почепцов Г. Г. Молчание как речевой акт, или how to do things without words // *Сб. науч. тр. Моск. пед. ин-та иностр. яз.* — 1985. — Вып. 252. — С. 43—52.
- ⁴³ Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия в древности. — М., 1985. — С. 559—560.
- ⁴⁴ Соколовская Т. О. Обрядность вольных каменщиков // *Масонство в его прошлом и настоящем.* — М., 1915. — Т. 2. — С. 82.
- ⁴⁵ Брудный А., Шрейдер Ю. Коммуникация и интеллект // *Международный форум по информации и документации.* — 1976. — № 2. — С. 9—14; а также: Лотман Ю. М. Культура как коллективный интеллект и проблемы искусственного разума. — М., 1977. — 18 с.

В. М. Мейзерский

4. Взаимодополнительность символа и метафоры как психолого-семиотическая проблема

Ориентация современной семиотики на анализ дискурса делает необходимым психосемиотическое переосмысление некоторых традиционных проблем, связанных, в частности, с интерпретацией знакового поведения. В статье анализируются семиотические механизмы функционирования символа и метафоры, выясняется их психологический статус как универсальных форм, взаимодополняющих друг друга.

На ранних этапах своего развития семиотика установила сложные отношения с психологией. У Ф. де Соссюра «знак» представляет «ментальную» сущность. Однако в последующей традиции, игнорировавшей «иконическую» сторону знака (важность которой подчеркивал Ч. С. Пирс), наметились два направления в трактовке сигнификации. С одной стороны, проявилась тенденция к представлению означающих и означаемых в качестве «вещей», что вело к дementализации понятия знака. С другой стороны, отношение означающего и означаемого стало рассматриваться как ассоциативная связь (например, в теории «ассоциативных полей» Ш. Балли).

С семиотической точки зрения существенно, что эти разночтения запрограммированы в самой концепции «знака», точнее, являются отражением асимметрии стратегий употребления знака в процессе коммуникации. Переориентация современной семиотики на описание и типологию дискурсивных практик предо-

© В. М. Мейзерский, 1990

ставляет в этой связи повод для переосмысления некоторых традиционных вопросов, связанных с проблемой сигнификации.

Во-первых, отношение означающего и означаемого не может быть ассоциативным. «Ассоциация» предполагает автономное восприятие соотносимых единиц. Между тем означающее существует потому, что имеет означаемое (и наоборот), поэтому сигнификация не может рассматриваться как ассоциативная связь¹.

Во-вторых, помимо «внутренней связи» означающего и означаемого, знак определен отношениями к другим знакам, что позволяет уточнить статус «концепта» («идеи»), обеспечивающего интерпретацию (имеется в виду схема «семиотического треугольника»). По справедливому замечанию М. Риффатера, в качестве интерпретанта идея объекта приобретает форму другого знака², что субординирует внутреннюю структуру знака системы иерархических («коннотирующих») отношений.

Таким образом, следует учитывать, что: а) в качестве интерпретанта «концепт» функционирует как «знак» и б) отношения между «словами» устанавливаются с помощью интерпретанта («знака»). Тем самым достигается «ментализация» знака, что сопряжено с обращением семиотики к психологии восприятия. Как отмечает В. В. Иванов, «все стороны знака находятся внутри человека, за исключением выводимых из человека, которые и нужны для объективации знака вовне. Но структура знака только из описания данных вовне последовательностей... не может быть выведена»³.

Речь идет о том простом на первый взгляд обстоятельстве, что «слово» представляет собой «разменную монету» коммуникации, тогда как «знак» устанавливает отношение между «образом слова» и «образом вещи» (отсюда повышение интереса к «иконическим» знакам⁴). В действительности это вовсе не безобидное уточнение, поскольку восприятие объекта сопряжено с включением «образа» в систему знаковых интерпретаций; «с этой точки зрения воспринимаемые объекты суть знаки»⁵, что особенно наглядно в случае взаимодействия лингвистических и экстралингвистических символических форм (например, когда «слово» соотносится с «вещью», выполняющей в социальной конвенции знаковые функции).

Здесь воспроизводится классическая ситуация субъективного идеализма, где вместо «совокупности опыта» субституируется «совокупность сигнификативных отношений», устанавливаемых между элементами опыта. Разумеется, такая ситуация выполнима только на теоретической модели. В реальной жизнедеятельности (включая коммуникативную деятельность) человек осуществляет автоматическую объективацию своего знакового поведения. Однако именно «автоматизм» экстерииоризации знаков обеспечивает возможность смешения реального и ирреального (вплоть до выработки невротических состояний), которое, помимо прочего, может закрепляться социально отобранными схемами оперирования со знаками.

Знаковое поведение оперирует с идеографическими (или «аудиографическими») «образами», попеременно выступающими в функции означающих и (или) означаемых. Моделью этого состояния может служить структура сна, которая только у ребенка идеографична, а у взрослого образует «коллаж» идеографических образов с элементами знаков. При этом образы утрачивают мотивационную соотнесенность, приобретая символические характеристики. Интересно, что субъект может распознавать онирические «образы», следуя не рациональной (линейной), а сигнификативной (нелинейной) логике, активно вовлекаясь в интерпретирующие процедуры. Онирическое знаковое поведение остается интериоризированным, а смена стратегии (экстерииоризация знака) равносильна прекращению сна.

В «нормальном» (практически-деятельном) состоянии объективация знака связана с нейтрализацией («вытеснением») части избыточных отношений. В результате «образ» выводится вовне в качестве репрезентанта либо означающего (например, «эмблематика»), либо означаемого (например, «стершаяся метафора»). Предрассудок, согласно которому «слова» обозначают «вещи» (или в системе «универсального символизма» «вещи» обозначают «вещи»), синкретично предполагает обе эти возможности.

В действительности, экстерииоризация может следовать по крайней мере двум тенденциям, образующим «отклонения» от гипотетического «базового состояния», где каждый элемент знака является одновременно означающим и означаемым. Лингвистика

приучила нас к мысли о том, что «образ» слова является дифференциальным элементом. Но то же характерно и для выведенных вовне идеографических образов. Антропологи любят ссылаться на тот факт, что представители примитивных народов не распознают изображений, которые европейские дети научаются считать очень быстро. Но здесь, вероятно, срабатывает эффект интерференции, препятствующий восприятию изображений чужой культуры (так же, как и звуков чужого языка). Ведь и мы идентифицируем изображение и оригинал (скажем, в условиях экспертизы), сопоставляя его не с оригиналом, а с другим изображением того же оригинала, т. е. интерпретируем его не в качестве означающего, а в качестве означаемого. Функционирование знака в том или ином качестве зависит от стратегии экстерииоризации.

Эти стратегии взаимодополнительны и «расщепляются» только в патологических случаях. Например, при афазии, связанной с упразднением иерархии лингвистических единиц (нарушение «метафорических» связей), афатик избегает употребления синонимов и затрудняется при назывании изображений. Для него именованное «изображения» и именованное «объекта» представляет собой две различные процедуры⁶. Фактически, это действительно различные процедуры, но иного рода. Афатик отождествляет ментальный «образ» объекта с изображением (экстерииоризированным «образом»). Ошибка состоит в смешении «концептуальной» и «перцептивной метафоры» (образуется своеобразный аналог «синестезии»). Точно так же «здоровый» человек склонен отождествлять изображение с объектом.

Сфера действия указанных семиотических операций (имеющих в качестве крайних случаев «отождествление знака с объектом» и «отождествление объекта со знаком») частично совпадает с риторическими процедурами, предоставляющими семиотике прекрасное экспериментальное поле. Оговоримся, что интересующие нас взаимодополнительные процедуры не совпадают с яacobсоновской дистрикцией операций отбора и комбинирования (поле «метафоры» и поле «метонимии»). Речь идет об иерархических отношениях, располагающихся на «оси комбинирования», которые условно можно противопоставить как метафорические и символические.

Понятие символа обычно употребляется в двух

значениях. В общей теории символизма символ характеризуется наличием транзитивного отношения между означающим и означаемым. По объему это определение приблизительно совпадает с кассиреровской «радикальной метафорой», включающей традиционную метафору в качестве частного случая. Вместе с тем под символом понимается риторическая операция, типологически объединяемая в классической риторике со сравнением, аллегорией и метафорой.

Из соображений простоты мы рассмотрим здесь только две операции (метафору и символ), ограничившись краткими замечаниями, мотивирующими такого рода редукцию.

Аллегория противопоставляется метафоре на основании тодоровской дистинкции «лексического» и «пропозиционального символизма» (в «лексическом символизме», к которому относится метафора, прямой смысл обязательно подвергается «вытеснению») ⁷. Символ индифферентен относительно этого различия, т. е. может содержать некоторые типы аллегорий. Такая типология, противоречащая античной традиции, однозначно совпадает со средневековой теорией «универсального символизма».

Что касается сравнения, то эта категория получила в риторике произвольное распределение. У Ж. Жетта, например, воспроизводится восходящая к Квинтилиану традиция объединения метафоры, сравнения и символа как группы тропов, основанных на аналогии ⁸. Критика этой концепции дана М. Ле Гером ⁹, и мы не будем на ней останавливаться. Более instructивной представляется позиция Г. Башляра, устанавливающего дистинкцию: метафора / символ + сравнение. При этом оговаривается, что существует категория образов, относительно которых трудно решить, относятся они к символу или к метафоре: таковы юнговские архетипы, которые Башляр относит к константам воображения, а также экстралингвистическая область опыта ¹⁰.

Наличие области неопределенности свидетельствует об интерференции двух взаимодействующих систем, что связано с удвоением налагаемых друг на друга маргинальных терминов. Такая ситуация должна быть интерпретирована. Обычно символ противопоставляется метафоре на том основании, что метафора выявляет доминирующий атрибут, а символ ус-

танавливает иерархию отношений между означающим и означаемым. В лингвистической области символ имеет место тогда, когда означаемое некоторого «слова» само становится означающим. В случае лексикализации этого отношения символом может стать и «слово», как в выражении «*avocat de la couronne*» («королевский прокурор»), где в метафорическую идиому включена вербализованная «эмблема».

Примечательно как объединение символа со сравнением, так и указание областей, где он неотличим от метафоры. Сравнение отсылает к ментальным процедурам, осуществляемым как бы «вне знаковой области». Оно основано на иллюзии отождествления «образа» и «объекта». С другой стороны, в объективированной области опыта «внутренняя структура» знака не осуществляет дифференциации символа и метафоры. Отсюда допущение (в действительности некорректное), что метафора является чисто лингвистической процедурой¹¹. На этом полюсе метафора и символ интерферируют: а) при вербализации объективированного символа и б) при переводе метафоры в «иконический» код (например, в идеографической письменности).

На противоположном полюсе символ и метафора «неразличимы» в качестве ментальных процедур, не подвергнутых объективации. Иллюстрацией может служить психоаналитическая модель бессознательно-го, ставшая предметом вторичной семиотической рефлексии¹². В объективированном знаке «референт» образует точку отсчета для типологии производных значений как «прямых» или «фигуративных». Но при нейтрализации референта знак подвергается «семиотической деструкции»¹³. Так, согласно Лакану, «симптом» является символическим в силу того, что представляет собой означающее некоторого означаемого, вытесняемого сознанием субъекта; здесь означающее детерминировано отношениями в цепи других означающих и символ учреждается как чисто дифференциальная черта¹⁴.

В этом случае бессознательное продуцирует вторичные означаемые, которые не могут быть корректно типологизированы. Известно, что Фрейд проявлял беспокойство по поводу этой неопределенности, пытаясь фиксировать бессознательные структуры относительно «крайних означаемых», которые уже не могут превращаться в означающие. При этом он коле-

бался между «коллективными бессознательными структурами» и «первичными инфантильными желаниями», т. е. модель имплицировала возможность и юнговских «архетипов», и структуралистской интерпретации.

Между этими полюсами располагается область знакового поведения, где интерпретация знака (в том числе его «внутренней структуры») осуществляется с помощью интерпретанта («другого знака»), соотносимого либо с означающим, либо с означаемым интерпретируемого знака. С этой точки зрения понятными становятся традиционные представления о метафоре как о тропе, основанном на субституции референта («лужи витрин»), а о символе — как об операции подстановки «внешнего знака» или «вещи», приобретающей знаковые функции («слон» является символом труда и пр.). Здесь учитывается только выведенный вовне «результат», за которым в действительности стоят аналогичные по структуре, но разнонаправленные относительно внешнего мира психические операции по обработке и интерпретации знаков.

Взаимодополнительность метафорических и символических операций относится, вероятно, к числу психологических универсалий. Объективация знака, производимая по одной схеме, всегда корректируется с точки зрения противоположной стратегии, без чего возникают патологические отклонения в ориентации человека в предметной и коммуникативной среде.

Между тем корректирующие схемы всегда остаются латентными, тогда как базовые операции более или менее «осознаются» (по крайней мере осознаются по своим накопившим различия «результатам», определяющим, помимо прочего, способ интерпретаций, применяемый адресатом). В этой связи соблазнительно применить проведенную психолого-семиотическую дистинкцию к культурологическому материалу в целях объяснения некоторых характеристик коллективной психологии.

Восходящая к Аристотелю античная риторическая традиция, канонизированная в эпоху классицизма, приучила европейскую науку рассматривать риторику как «нормативную» дисциплину, типологизирующую результаты знакового поведения и предписывающую способы употребления этих омертвелых форм. Однако предпринимаемые в последнее время попытки построения «этнориторики»¹⁵ свидетельствуют о том,

что в большинстве традиций она была «интерпретирующей» дисциплиной, исследующей стратегии знакового поведения. Таковы, во всяком случае, арабская риторика, индийская поэтика, экзегеза европейского средневековья. По этому же пути пошла современная франко-бельгийская «неориторика» и германоязычная «герменевтика».

Обычно идентификация таксономических категорий, выделяемых в разных риторических традициях, весьма затруднительна, если не невозможна. Тропы и фигуры не могут типологизироваться автоматически, на основании внешне представленной структуры. Их характеристика зависит также от типа интерпретации. Поэтому в разных традициях одни и те же фигуры оказываются в разных рубриках. Однако возникает ощущение, что их распределение регулируется правилами, которые определены конечным числом стратегий, выполнимых для общих психических структур.

Например, средневековая традиция выработала для интерпретации Библии теорию символизма, основанную на («экстериоризированном») знаковом функционировании «вещей», «персонажей» и «исторических событий». Акцент на объективированных формах символизма сам по себе сопряжен с парадоксами определения «последнего означаемого» (Бог) и «последнего означающего» (Слово), строго симметричными парадоксам «интериоризированного» знакового поведения, которые мы отмечали у Фрейда. Число стратегических «выборов» в данном случае явно конечно.

Но интересно и другое. «Святые доктора», заложившие основы европейской семиотики, из доктринальных соображений третировали метафору, запрещая ее применение при интерпретации Библии (метафору факультативно резервировали для «поэзии», как это делал, например, Беда Почтенный). Между тем анализ библейского текста свидетельствует о высокой функциональной производительности в нем метафоры, в том числе «текстовой метафоры» (*métaphore filée*). Например, взаимообратимая метафора «блуда» («религиозное заблуждение» как метафора «супружеской неверности» и наоборот) является «сквозной» для ветхозаветного текста, особенно в «профетической речи». Однако в интерпретации экзегетов меняется «фокализация» (точка отсчета «нулевого уровня» интерпретации), с чем связана переоценка метафоры как символа и трансформация «лексического

символизма» в «пропозициональный символизм». Таким образом, реальный текст как продукт бессознательной дискурсивной деятельности содержит больше взаимно корректируемых механизмов, нежели можно реализовать в локальной интерпретации. Тип же интерпретации задан культурной традицией.

Любопытно, что в кашмирской поэтике IX—XI вв. метафоре также приписывалась низкая продуктивность, но по другим причинам. Поэтика в данном случае рассчитана на театральные дискурсы, где говорящий «персонаж» одновременно выполняет символические (причем в индийском театре социально предписанные) функции. Опять изменение точки «фокализации» с позиции «зрителя» способствует переоценке метафорической речи.

Однако асимметричный отбор интерпретирующих стратегий не ограничивается идеологическими (доктринальными) установками, типами дискурсов (например, «театральными», «профетическими»), но закрепляется также во внешней эмблематике, жестах, графике, изменяющих статус «иконических» образов и оказывающих обратное воздействие на индивидуальную психику.

В частности, связанные с именем Ж. Деррида «грамматологические» исследования¹⁶, посвященные графическому поведению и письменности, проливают дополнительный свет на взаимодействие «слуховых» и «зрительных» образов в организации символического поведения. Здесь наблюдается асимметрия в проявлениях аграфии у лиц, пользующихся алфавитным (или силлабическим) и идеографическим письмом, асимметрия в выражении абстрактных концептов в устной речи и идеографической письменности¹⁷, параллелизм письменной и онирической идеографии (например, у египтян тот, кто умел «писать», умел и «разгадывать сны»¹⁸) и т. п.

Вероятно, культура, в многообразных вариантах закрепляющая только некоторые из выводимых во вне результатов знаковых операций, способствует специфическому структурированию латентных и эксплицитных уровней психического поведения. Если это действительно так, то само понятие архетипа следовало бы уточнить в качестве инварианта, реализуемого в группе вариантов, обладающих культурно детерминированными и предсказуемыми типологическими характеристиками.

- ¹ *Todorov T* Symbolisme et interprétation. — Paris, 1978. — P. 15.
- ² *Riffaterre M.* Sémiotique intertextuelle; l'interprétant // Langue Française. — 1969. — N 3. — P. 133.
- ³ *Иванов В. В.* Об итогах и проблемах семиотических исследований // Труды по знаковым системам, — вып. 20. — Тарту, 1987. — С. 4.
Напр.: *Thom R.* De l'icône aux symboles. Esquisse d'une théorie du symbolisme // Cahiers internationaux de symbolisme. — 1973. — N 22/23.
- ⁵ *Павиленис Р. И.* Понимание речи и философия языка // Новое в зарубежной лингвистике: Теория речевых актов. — М., 1986. — Вып. 17. — С. 383.
- ⁶ *Jakobson R.* Essais de linguistique générale. — Paris, 1963. — P. 60.
- ⁷ *Todorov T.* Symbolisme et interprétation. — P. 37—38.
- ⁸ *Genette G.* La rhétorique restreinte // Communications. — 1970. — N 16.
- ⁹ *Guern M. Le.* Sémantique de la métaphore et de la métonymie. — Paris, 1973. — P. 52—53.
- ¹⁰ *Bachelard G.* La Flamme d'une chandelle. — Paris, 1962. — P. 33, 71.
Tamine J. Métaphore et syntaxe // Langages. — 1979. — N 54.
- ¹² *Derrida J.* Freud et la scène de l'écriture // Tel Quel. — 1966. — N 26; *Roudinesco E.* L'action d'une métaphore (Remarques à propos de la théorie du signifiant chez Jacques Lacan) // La Pensée. — 1972. — N 162; *Todorov T.* Théories de symbole. — Paris, 1977.
- ¹³ *Arrive M.* Structuration et destruction du signe dans quelques textes de Jarri // Essais de sémiotique poétique. — Paris, 1972.
- ¹⁴ *Lacan J.* Écrits 1. — Paris, 1966. — P. 160.
- ¹⁵ *Molino J.* Anthropologie et métaphore // Langages. — 1979. — № 54; *Molino J., Soublin F., Tamine J.* Présentation; problèmes de la métaphore // Langages. — 1979. — N 54.
- ¹⁶ *Derrida J.* De la grammatologie. — Paris, 1967.
- ¹⁷ *Горохова Г. Э.* К проблеме интерпретации категорий традиционной китайской философии // Методологические проблемы изучения истории философии зарубежного Востока. — М., 1987.
- ¹⁸ *Derrida J.* Freud et la scène de l'écriture // Tel Quel. — 1966. — N 26. — P. 19—20.

А. С. Кирилюк

5. Архетипы и категории предельных оснований

Автор указывает общечеловеческие мотивы поведения (категории предельных оснований) с понятием архетипа, в контексте выявления основных элементов, определяющих структуру психи-

© А. С. Кирилюк, 1990

ки, различные уровни психического поведения, включаемого в культуру.

Поиск общих оснований и полей пересечения психологии и логики может быть связан с выявлением элементов, структурирующих различные формы проявления психического, которые уходят корнями в глубины психики и тесно связаны с психологическими аспектами культурно-мировоззренческого сознания. Основанный на таком подходе типологический анализ психологических и логических явлений позволяет выявить различные уровни статических и динамических структурообразующих механизмов, что говорит о наличии в рамках духовного некоторых универсальных компонентов. Как правило, терминологическим эквивалентом этих универсалий духовного во многих работах являются такие понятия, как «тип», «схема», «мотив», «инвариант», «стереотип», «архетип» и т. д. Особенно часто используется последний из названных терминов, причем без достаточно четкого определения его содержания и должного критического отношения к источнику заимствования — учению К. Г. Юнга. Следует, правда, отметить, что существует и такой подход к термину, который не связан с юнгианством и выражает лишь общечеловеческие мотивы, изначальные схемы представлений, лежащие в основе художественных структур¹.

В интересующем нас аспекте увязывание архетипов с фундаментальными общечеловеческими мотивами представляется крайне важным. Эти мотивы можно назвать «мировоззренческими универсалиями»², или «категориями предельных оснований»³. Суть их заключается в том, что они концентрируют и выражают в эксплицированной форме такие фундаментальные полюса человеческой жизни, как рождение, смерть и культурно-исторические формы понимания бессмертия.

В вопросе о связи архетипов и категорий предельных оснований (КПО) в контексте выявления главных детерминант структуроформирования психики и культурного сознания более всего нас интересует проблема, сопряженная с выделением различных уровней психической деятельности человека (в том числе и бессознательной) и установлением их соотношения с транспонированным в культуру выражением психических форм. Иначе говоря, вопрос заключа-

ется в том, насколько сильно культурный фон, на который проецируются психические формы, определяет способ их проявления и в какой степени этот культурный фон может быть привнесен исследователем спонтанных проявлений психического в процессе реконструкции и истолкования психических фактов. Для решения этого вопроса важно прежде всего установить соотношение архетипа и КПО, предварительно выяснив их собственное содержание, с тем чтобы перейти далее к теоретическому анализу архетипов в контексте выраженности в них универсальных структур мировоззренческого сознания.

Следует отметить, что идея о некотором «праобразе», пронизывающем многие произведения культурно-мировоззренческого сознания, имеет довольно длинную историю. Исследователи обращают внимание на сходство юнгианских «архетипов» с «элементарными мыслями» Бастиана, «первобытными образами» Буркхарда⁴, «архаическими остатками» Фрейда и т. п. Недостаточно ясно определена и связь архетипов с различными формами сознания. К. Г. Юнг архетипы рассматривает в их соотношении с инстинктами, бессознательным, символами, образами и считает их в общем элементами психической структуры⁵.

Сам Юнг утверждает, что концепция архетипа исходит из факта схожести мотивов мифов, волшебных сказок, снов, бредовых видений. Их окрашенность эмоциональными и чувственными красками производит на нас большое впечатление. От архетипов следует отличать схожие мотивы и образы, которые называются архетипическими идеями. Они восходят к архетипам, но не тождественны с ними. Сами же архетипы являются некоей непредставимой, предсуществующей формой, рассматриваемой как часть наследуемой структуры психики, могущей спонтанно проявляться где угодно и когда угодно. Вследствие своей инстинктивной природы архетип лежит в основе эмоционально-чувственного комплекса и разделяет его автономию⁶. По мнению Юнга, неверно считать архетип разновидностью бессознательной идеи. Он становится видим только тогда, когда оформлен соответствующим содержанием. В нем он сравним с кристаллической решеткой, которая сама по себе не имеет материального существования и соответствует лишь определенному способу соединения молекул. Аналогично этому и архетип также пуст и чисто формален,

он есть лишь возможность репрезентации, которая дана априорно. Вследствие невыразимости архетипа в сознании его необходимо назвать «психоидом». Архетипы реальны, они выступают априорными структурными формами содержательного сознания. Как атрибуты инстинкта они имеют нечто от его динамической природы и обладают, следовательно, определенной энергией⁷. Основанность архетипов на инстинктивных предпосылках делает невозможным их обоснование или изгнание с помощью разума. Они выступают как коллективные представления⁸. Архетип — это нечто большее, чем сознательное представление, он формирует такие мотивы, которые могут варьироваться, изменяться в очень большой степени в деталях без потери основных черт⁹. Архетипические формы это не только статические модели, это динамические факторы, манифестирующие себя в импульсах, спонтанно, так же, как и инстинкты¹⁰.

Таким образом, архетип, по Юнгу, это априорная структура, которая кристаллизуется посредством синтеза вокруг себя определенного материала. Именно врожденность архетипа и близость к инстинкту обуславливают факт уникальной схожести различных мотивов, схем и сюжетов, пронизывающих всю мировую культуру на протяжении тысячелетий. Следует отметить, что мы не можем отрицать наличие определенных врожденных структур, в том числе и категориального, т. е. всеобще-универсального типа. Однако дальше декларации о том, что архетипы, манифестируемые через различные идеи и образы, врожденны, К. Г. Юнг не идет. Более того, его стиль мышления, близкий к беллетристике, произвольные параллели, устанавливаемые между фиксируемыми в снах и мифах образами, удаляет решение проблемы врожденности архетипов от ее научного осмысления.

Категории предельных оснований в отличие от архетипа имеют ясно выражаемое содержание безотносительно к организуемому материалу. Осмысление жизни, смерти и бессмертия неоспоримый признак человека как разумного существа. Однако наряду с рефлексивными формами мироосмысления в контексте конечности бытия человека в мире в составе мировоззрения и культурного сознания легко обнаруживаются скрытые формы представленности данных инвариантов самосознания. Ближайшей формой явленности их в составе общественного сознания является такая

спецификация, которая может быть названа *кодами* КПО. Среди вариантов кодирования КПО в ходе сокращения вариантов и обобщения наиболее устойчивыми можно назвать эротический, алиментарный и социально-производственный коды. Каждый из них преломляет через себя КПО таким образом, что они начинают выступать в предметной форме, связанной с символизмом, аллегориями, шифрами и т. д.¹¹ Так, образ *змеи* может связываться как с положительной, так и с отрицательной семантикой. Первая может выражаться посредством системы понятий, группирующихся вокруг КПО «жизнь» (здоровье, врачевание и т. п.), вторая — вокруг КПО «смерть» (вредительство, опасность, месть и т. п.). При этом широта культурного поля данного символа включает в сферу своего влияния и те КПО, которые являются продолжением базисных категорий и выражают продолжение жизни через преодоление смерти. Здесь в силу вступают названные выше коды мировоззренческого сознания, и *змея* в их контексте становится фаллическим символом (эротический код), вокруг которого сосредоточивается смысловое содержание греха, чувственности, соблазна, искушения; символом рождения (тотем), плодородия и т. д. (растительный код), а также выражением мудрости, осмотрительности, ума и опеки как наиболее ценимых качеств, способствующих лучшей жизненной ориентации¹². Таким образом, категории предельных оснований образуют структурирующую основу материализованных форм жизненной ориентации и проявляют свое влияние в них опосредованно, требуя для своего обнаружения определенной теоретической реконструкции.

Возникает вопрос, нельзя ли при помощи подобной теоретической реконструкции обратиться к архетипным образам и при обнаружении в них подобных структурообразующих начал попытаться определить и лежащие в их основе архетипы как унаследованные от нашего прошлого инстинктивнообразные, но уже социализированные, формы жизненной ориентации?

Отметим, что К. Г. Юнг, следуя основным направлениям исследований, заданным З. Фрейдом, обращается к анализу эротизма (сексуальности) и проблемы смерти в различных контекстах. Однако при исследовании собственно архетипических образов их фундаментальность по отношению к этим образам не фик-

сируется. Тем не менее при внимательном рассмотрении в архетипических образах и фигурах можно выявить КПО в их различных формах проявления, зависящих от функциональности или предметности образа, его места в более широкой структуре и других обстоятельств. Так, в приводимом в глоссарии книги списке фигур снов обращают на себя внимание такие фигуры, связь которых с КПО не вызывает сомнений. К ним относятся фигуры «кровь», «убийца отца (фантазия)», «рыба» (Христос), «рыцарь», «змея», «скорлупа» и др.

Отчетливая связь с КПО обнаруживается и при обращении собственно к архетипам. Так, архетип «Я», являющийся центральным архетипом порядка, тотальности, личности, выражает момент самосознательной себестождественности субъекта в мире, связанной со структурированием мира вокруг него как окружающего мира. Отсюда символика Я как круга, *мандалы*¹. Внутренняя часть личности фиксируется архетипом «тени» как суммы всех личностных и коллективных элементов. Она персонифицирует все, что субъект отказывается признать в себе и что выражено в худших чертах характера и т. п. Архетип «анима» в отличие от прямой связи предыдущих архетипов с КПО «жизнь» переводит идею жизненности на иной уровень, кодируя его в эротическом коде как проявление бессознательного начала противоположного пола в человеке. Архетип «мудрец» связан с жизнью духовной, социальной, отражает ценность знания подлинного бытия, скрываемого за хаосом жизни. Архетип «матери» прямо выражает КПО «рождение», символизируется и персонифицируется в бесконечно разнообразных мифологических образах, ритуалах и персонажах. Архетип «рыба» (частный случай — Христос) репрезентирует КПО бессмертия через возрождение.

Следует сказать, что К. Г. Юнг не игнорирует КПО как таковые, но рассматривает их структурообразующую и формирующую по отношению к архетипам и архетипическим образам функцию только как вспомогательную. С помощью КПО он истолковывает некоторые неясные моменты психической жизни, проявляющейся в снах, однако главное внимание уделяет попыткам установить прямые соответствия между образами и персонажами. При отрицании факта их психологической наследуемости репродуцирование

тех или иных форм и образов требует какого-то объяснения. Это объяснение не выходит за рамки простой констатации факта совпадения, допустим, образа в сновидении с образом, зафиксированным в старинной гравюре. В то же время К. Г. Юнгом высказываются и некоторые важные мысли, могущие пролить свет на само совпадение этих образов.

Исходя из представлений о тождественности процессов эволюции телесной организации человека и его психики, имеющих свою историю развития и включающих в себя в свернутом виде весь прошедший путь, Юнг¹ отмечает, что психолог не может обойтись без «сравнительной анатомии психики» как истории развития «психэ». Бессознательное и предысторическое развитие «психэ» первого человека, близкое к этому же явлению у животных, формирует фундамент нашего мышления¹⁴. Это «психэ» не тождественно сознанию, оно проявляет себя в таких возобновляемых у каждого человека реакциях и импульсах, которые основаны на заранее сформированной и всегда готовой к действию инстинктивной системе. По Юнгу, мыслительные формы, универсальные жесты, позы и т. п. следуют модели, установленной задолго до того, как человек развил в себе рефлексивное сознание¹⁵. Инстинкты и архетипы вместе образуют бессознательное. Отличие инстинктов от архетипов заключается в том, что собственно инстинкт — это физиологическая необходимость, ощущаемая через органы чувств. Но проявление этих чувств часто приобретает форму фантазий, выражающихся в символических образах. Именно эти манифестации Юнг и называет архетипами, поскольку в отличие от инстинктов физиологического плана их наследственная передача исключена¹⁶. Аргументация в пользу существования аналогии между сохранением в ставшем организме фаз его предшествующего развития и такими же процессами сбережения стадий развития души «психэ» в общем-то не вызывает возражений и идет еще к идеям Гегеля. Однако нельзя считать научным обращение к религиозно-мистическим параллелям снов и неверно, как нам представляется, видеть факт универсальности образов в свете их совпадения. Эти проблемы Юнг решает весьма упрощенно, показывая, например, что открытие бензольного кольца было связано с видением во сне змеи, кусающей свой хвост, а сам факт такого совпадения относит к разряду вводимого им пред-

ставления о явлении синхронии. Последнее понятие обозначает значимые совпадения и эквивалентности. Такие совпадения не имеют каузальной связи и происходят либо тогда, когда внутренне воспринятые события (сны, предчувствия и т. п.) находят очевидное соответствие и исполняются, либо тогда, когда идентичные мысли или сны протекают одновременно в разных местах. При утверждении, что сознание филогенетически и онтогенетически является вторичным феноменом¹⁷, в таком подходе Юнга можно найти и позитивное содержание, которое попытались использовать в своих исследованиях естествоиспытатели¹⁸ и которое получило нейтральную оценку в некоторых статьях советских философов¹⁹.

В то же время трудно согласиться с тем, что архетипы, будучи инстинктивными тенденциями, маркированными импульсами, сходными с теми, что побуждают птиц строить гнезда или муравьев — колонии, могут быть основанием для формирования научных понятий и теорий. Обращение к подсознанию, бессознательному и инстинктивному как основанию формирования концептуальных основ науки делает ее лишь выражением социализированных инстинктивных форм, лишает специфики рационального осмысления мира. Наряду с этим, при условии, что выводы о совпадении образов в снах с образами, зафиксированными визуально в истории развития сознания (науки, религии и т. п.), не будут рассматриваться как проявления потусторонних сил, следует более внимательно рассмотреть механизм воспроизведения в индивидуальном сознании тех мотивов и сюжетов, которые имеют безусловные аналоги в материализированной духовной культуре.

Обращаясь к анализу снов своих пациентов, К. Г. Юнг отмечает, что для него сон, в отличие от понимания его З. Фрейдом, — это не «фасад», за которым скрыто утаиваемое от сознания значение. «Архаические следы» бессознательного не являются отжившими слепками, напротив, они принадлежат нашему актуальному бытию. Наиболее ярким примером сновидений в их связи с мировыми символами Юнг считает сны несовершеннолетней девочки, оформлявшей свои сновидения как сказки в виде буклета и подарившей его своему отцу. Отец, будучи в недоумении, обратился к Юнгу за разъяснениями. Основными мотивами этих снов были следующие.

1. Рогатый змей убивает животных. Приходит бог из четырех углов и возрождает этих животных.

2. Восхождение на небеса, где отмечается праздник, нисхождение в ад, где ангелы творят добрые дела.

3. Рой маленьких животных пугает сновидицу, одно из них увеличивается в размерах и пожирает ее.

4. Мышь как бы проходит через червей, змей, рыб и людей.

5. Капля воды возникает и поглощается ветвями дерева.

6. Плохой мальчик бросает грязные комья земли во всех, кто проходит мимо, и делает их тем самым плохими.

7. Пьяная женщина падает в воду, выходит оттуда обновленной и трезвой.

8. Люди атакуются муравьями. Сновидица в панике бросается в реку.

9. Пустыня на Луне, в которую сновидица погружается так глубоко, что достигает ада.

10. Девочка видит светящийся шар, от которого исходят испарения. Приходит человек и убивает ее.

11. Девочке снится, что она опасно больна. Птицы покрывают ее полностью.

12. Рой насекомых покрывает небо, кроме одной звезды, которая падает на сновидицу.

Обращаясь к анализу этих сновидений, К. Г. Юнг сразу же отвергает возможности какого-либо внешне-го заимствования. Сны этой умершей вскоре девочки имели, по словам Юнга, философский характер. Первый сон, считает он, является выражением имеющей хождение в христианстве идеи о том, что в конце времен все вещи будут восстановлены Искупителем в их первоначальном виде. Важной является также и идея о победе Христа над темными силами, что выразилось во сне в виде борьбы с монстром. Незаимствованность сна связана, по мнению Юнга, с идеей четверичности, о которой в средних слоях буржуазного общества вообще ничего не знают.

Второй сон истолковывается как реверсия принятых ценностей, в которых языческие танцы происходят в раю, а деяния ангелов в аду. Где мог, вопрошает Юнг, найти ребенок такое революционное представление об относительности ценностей, достойное гения Ницше? Четвертый сон связывается со стадиями развития живого на Земле, пятый — с возник-

новением мира, а в целом, подводит итог Юнг, девять из двенадцати снов находятся под влиянием идеи де-струкции и реставрации²⁰

Выводы, которые делает К. Г. Юнг из анализа снов, сводятся к тому, что он видит в них проявление фундаментальных философско-мировоззренческих ориентиров, делающих их вариациями на тему жизни, смерти и воскресения. Сам Юнг испытал при ознакомлении со снами «ужас» именно вследствие несоответствия их возрасту сновидицы. Они вызвали у него старую мысль в духе афоризма «короткий сон» и убедили в том, что неведомое приближение смерти бросает тень предчувствия на жизнь и сны жертвы в духе «*ver sacrum movendum*» (зарока весеннего жертвоприношения). Истоки подобных снов видятся Юнгу в коллективном бессознательном, поскольку черты коллективного мышления являются врожденными. Сходство снов девочки с научениями, получаемыми конфирмантами в разных странах, связывается им с тем, что она была на грани полового созревания и смерти одновременно. Сходство инициационных процедур у разных народов объясняется той же причиной.

Таким образом, в качестве фундаментальных смысло-жизненных ориентиров, понимаемых как коллективные бессознательные явления, К. Г. Юнг понимает определенные жизненные полюса (рождения и смерти и их вариаций). Казалось бы, при признании факта врожденности поведенческих форм животных, связанных с продолжением рода и с умиранием, логично обратиться к специально-научному анализу инстинктивных форм человека, затемненных, социализированными структурами его психики. Однако такого шага психолог Юнг не делает. Он обращается к поверхностному анализу религиозных мотивов, переводя проблему КГЮ в иррациональную область. У него происходит весьма пагубный методологический разрыв между признанием факта врожденности определенных психических структур, связанных с жизненной ориентацией, и тем, как подаются читателю факты поразительных совпадений мотивов, образов и сюжетов мировоззренческого и культурного сознания в контексте рассуждений о жизни после смерти. Очевидно, что архетипы и категории предельных оснований должны рассматриваться как различные теоретические выражения константных моментов ориентации

человека в мире и осмысления им своего места в нем с точки зрения понимания и экспликации в культурно-мировоззренческих структурах представлений о жизни, смерти и бессмертии на разных их уровнях и в разных формах проявления.

- ¹ *Аверинцев С. С.* Архетипы // Мифы народов мира. — М., 1982. — Т. 1. — С. 110.
- ² *Кирилюк А. С.* Мировоззренческие универсалии и структура текста // Анализ знаковых систем — Киев, 1986. — С. 71.
- ³ *Кирилюк А. С.* Категорите на пределните основания като универсалии на културата // Философска мисъл. — 1987. — № 8. — С. 69.
- ⁴ *Eliade M.* Myht, 19th and 20th Centures // Dictionary of History of Ideas, vol. III. — New York, 1964. — P. 312.
- ⁵ *Аверинцев С. С.* Архетипы // Мифы народов мира. — С. 110.
- ⁶ *Jung C. G.* Memories, Dreams, Reflections. — 1974. — P. 411.
- ⁷ *Ibid.* — P. 380.
- ⁸ *Ibid.* — P. 386.
- ⁹ *Jung C. G.* Man and Symbols. — New York, 1972. — P. 67—68.
- ¹⁰ *Ibid.* — P. 75.
- ¹¹ *Кирилюк А. С., Бъчваров М.* Философия — култура — светоглед // Проблемы на културата. — 1986. — № 6. — С. 3—16.
- ¹² *Jobes E.* Dictionary of Mythology, Folklore and Symbols. — New York, 1962. — P. 1462.
- ¹³ *Jung C. G.* Memories, Dreams, Reflections. — P. 415, 418.
- ¹⁴ *Jung C. G.* Man and Symbols. — P. 67.
- ¹⁵ *Ibid.* — P. 76.
- ¹⁶ *Ibid.* — P. 69.
- ¹⁷ *Jung C. G.* Memories, Dreams, Reflections. — P. 381.
- ¹⁸ *Паули В.* Влияние архетипических представлений на формирование естественнонаучных теорий у Кеплера // Физические очерки. — М., 1975. — С. 131—175.
- ¹⁹ *Орфеев Ю. В., Панченко А. И.* Парапсихология: наука или магия? // Вопр. философии. — 1986. — № 12. — С. 116—128.
- ²⁰ *Jung C. G.* Man and Symbols. — P. 70—76.

Е. А. Замятина

6. Психосемиотический анализ шаманского ритуала

Шаманский ритуал представляет собой особую форму психического воздействия на коллективное сознание в целях определенной ориентации его на соответствующие ценности. На примере анализа обряда камлания автор показывает функции символических структур в организации коллективной психики. Шаманский ритуал, полагает автор, отражает особенности архаического мышления строящего свою модель мира на основе взаимного замещения и наложения символов.

В эпоху развитого охотничьего хозяйства в сознании индивидуумов происходит вычленение основных

© Е. А. Замятина, 1990

символов, связанных с производственными и общественными взаимоотношениями. «Согласно материалистическому пониманию, определяющим моментом в истории является в конечном счете производство и воспроизводство непосредственной жизни. Но само оно, опять-таки, бывает двоякого рода. С одной стороны — производство средств к жизни: предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с другой — производство самого человека, продолжение рода»¹. Эти символы, продиктованы человеку доисторической эпохи окружающей средой, и составляют семиосферу цивилизаций охотников-рыболовов. Под символом принято подразумевать многозначный знак, следовательно, символ содержит совокупность знаков, организующих его внутреннюю структуру. Знак максимально приближен к реальному объекту и связан с информацией, полученной от него. При столкновении с неизвестным наибольшее количество информации человек получает благодаря органам зрения, поэтому знак в сознании индивидуума столь отдаленной эпохи часто оказывается зрительным образом объекта. Так, наиболее значительными символами становятся символы зверя — объекта охоты, имеющие практическое значение для ведения охоты, символы — ориентиры, указатели, обереги, а также символы сопутствующих охоте явлений — брачных церемоний, трапез и т. п. Они поданы или в виде натуралистических зарисовок, знаков инициаций и их мест, или в виде скульптурных образов, фетишей и т. п.

При исследовании материала по сибирскому шаманизму на основе этнографических данных начала XX в. прослеживается связь и преемственность духовных культур, базирующихся на охотничьем хозяйстве. Символы объединены в сознании охотников общей идеей жизнеутверждающего начала и доминантной темой охоты, находя свое применение в ритуальном действе.

Рассмотрим кратко сам процесс камлания шамана, беря за основу промысловый культ. Подобное камлание, на наш взгляд, наиболее полно включало в ритуал символы, связанные с сохранением жизнеспособности коллектива охотников, так как от удачи в охоте зависело существование социума. Сюда примыкает вопрос и о решении проблемы воспроизводства: в ходе охотничьих кампаний осуществлялись брач-

ные контакты родов, что давало им возможность выйти из тупика кровного родства, поэтому в ходе камлания мы увидим символы, связанные с отношениями воспроизводства. Вся символика так или иначе замыкается на фигуре шамана — объекта охоты — охотника. Иногда подобные камлания носили коллективный характер² или же предполагали активное участие охотников в ритуале в случае «выхода» из него шамана³. Обряды перед охотой охотники могли совершать и без шамана, например у эвенков⁴. В материалах А. Ф. Анисимова обращает на себя внимание ярко выраженный родовой характер обряда — камлание совершается у родовых священных камней или гор и деревьев, но при этом сохраняется обычай установки шаманского чума и дерева как «дороги», по которой шаман отправляется к духу⁵. Наличие культа родовых гор с их посещением, а также культа родовых⁶ и шаманских деревьев свидетельствует о сезонных перемещениях родов либо об их миграциях из других областей⁷. Так, у кетов опоздавшему к началу камлания достаточно было спросить у присутствующих, сколько стоянок осталось позади, чтобы представить пройденный шаманом путь⁸. Выслеживая зверя, охотники селились на местах летних и зимних кочевий стад животных. В сознании закреплялась система образов, имеющих ориентировочное и хозяйственное значение: наскальные рисунки и складирование костей убитых особей указывают на зоны охоты и количество убитых животных. Отпечатки рук рядом с изображением охоты — символ собственности и прикосновения — аналогичен изображению следа, пути⁹. «Сходство и смежность — оба принципа ассоциативности совпадают в более общем единстве — прикосновении»¹⁰. Естественные ориентиры и обиталища (пещеры и гнездование приматов и людей доисторической эпохи на деревьях¹¹, служили естественным ориентиром местности и включены в семиосферы многих цивилизаций более поздних периодов в качестве, например, мировых гор и деревьев как ориентиров мира — общины, этноса¹². Шаман, для того чтобы обеспечить охоту, т. е. выйти на связь с духами, должен был совершить восхождение на «священную» гору либо влезть на шаманское дерево, нередко не выходя из чума, который, как и более поздний символ-дом, совмещал символ горы и дерева, нередко изображенного в чуме лестницей. В

таким случае чум преображался в храм, аналогичный «оваа», или «обо». Вот как описывает этнограф М. Г. Левин посещение оваа: «оваа находилось на вершине холма и представляло собой конусовидный шалаш из жердей в 2,5 м в высоту, кругом куча камней... вокруг на жердях множество лоскутков, среди них и цветные. С южной стороны — низкое отверстие — «подлаз»; с трудом вползая на животе, можно было попасть внутрь, и т. д.»¹³. У народов Сибири существовал обычай сооружать жертвенники из камней на перевалах, на вершинах гор или около них в виде кучи камней и сухих веток. Внутри имелись идол и жертвоприношение, иногда оваа или обо имели форму часовен куполообразной (фаллической, очевидно) формы. «В конце XIX — начале XX в. моления на обо носили территориально-административный характер и проводились шаманами в их ритуальной одежде и с бубном», — пишет Н. А. Алексеев¹⁴. Символ чума — дома, таким образом, совмещал символы вождя, охотника, царя. «Дом царя у хеттов был местом, где можно было справить религиозный праздник, если в поселении не было храма»¹⁵, и в более поздний период, так как символ «вождя — охотника — царя» тесно ассоциируется с возможностью контакта с сакральным миром. Так, на языке намбиквара вождь именуется «уликанде» — тот, кто объединяет, а именно осуществляет подготовку к кочевью, определяет место и длительность стоянок, маршрут, принимает решение об организации охоты, рыбной ловли, сбора растений и мелкой живности и определяет поведение своей группы по отношению к соседним группам; одновременно является колдуном и знахарем¹⁶. Таким образом, шаманский чум представлял собой храм с символикой, общей и для более поздних цивилизаций. Шаман выходил на связь с духами — подателями жизни животных. В. Н. Басилов отмечает, что шаманство основано на вере в разного рода духов. Духи населяют окружающий человека мир и пребывают в существах в виде души¹⁷.

Аналогичны представления народов Севера, в частности эскимосов, о том, что любое явление имеет своего хозяина («его человека»), а с ним может иметь дело только шаман (обычно существо другого пола, чем хозяин). Наряду с духами существует безликая сила всего живого — «хила», которая у людей передается от предка к ребенку¹⁸. От обладания этой си-

лой зависит всякая удача человека на охоте, войне и т. п., аналогично вере в «мана» у народов Океании¹⁹. Одухотворение природы тесно связано с осмыслением собственного чувства жизненной энергии. Судя по высказываниям тувинцев-шаманистов, при жизни человека признавалось наличие жизненной силы, которая и делала его живым существом, ее символом стали дыхание, мысль и т. п.²⁰ Все тюркоязычные народы Сибири понимали «кут» как жизненную силу, получаемую от племенных и родовых божеств, т. е. предков²¹. Эти народы верили в наличие подобной силы и у животных, причем имелось различие между уровнями состояния «кут» в различных возрастных периодах и сезонах года. Наличие энергии в основном связывалось с благосклонностью духов, добрым началом, тогда как злые «похищали» либо «поедали ее».

Главная цель субъекта — сохранение жизнеспособности, поэтому понятие жизненной энергии служило основным критерием при отборе символов. Тесная связь символов горы, дерева, чума, предка исходит и от обычаев не только проведения инициаций в подобных сакральных местах, но и от обычаев захоронения или просто оставления трупов в местах обитания или стоянки²². Об этом свидетельствуют воздушные захоронения шаманов в Сибири, несмотря на распространение христианства с его трупоположением, обычаи вешать на деревья черепа убитых животных и сооружение идолов — предков как указателей территорий охотничьих родов. Духи-хозяева, очевидно, воплощают предков — реальных претендентов и владык зон охоты родов, поэтому, как правило, имеют облик старца²³. Распространены также образы родственников духа-хозяина в виде его дочери, хозяйки. Вот как обращались хакасские охотники к духам в заклинании гор и рек: «Пусть нам откроется путь; мы едем от людей, сейчас мы гостим у вас и просим у вас удачи, разрешите недолго пожить. Не жалейте зверей и птиц, лишнее не возьмем, помогите по возможности... приносим от богатства, платим за зверей»²⁴.

Таким образом, символ предка выводит нас к символу — объекту охоты, не обязательно тотемному. Возможно, объект охоты был тотемом соседнего рода, на территории которого могла проводиться охота, о чем свидетельствует искупительный и умиловительный характер жертвоприношений²⁵, а также

«брачные» контакты шамана-охотника с представительницами этого «рода» духов-хозяев, закрепленные в мифах, например в рассказе нганасанского шамана о путешествии к двум владычицам Вселенной²⁶, и обряды предоставления женщин своего рода охотникам из другого²⁷. Духи часто выступают в виде полулюдей-полузверей — медведицы, женщины-лосихи; нередко рассказы о детях-богатырях, рожденных от подобных связей²⁸. Сочетание двух символов — человека и его тотема—рода — указывали на принадлежность к племени под таким знаком тотема (ср. интерпретацию изображения «человек — батат» аборигенами Австралии²⁹). Не остался незамеченным случай отдачи невесты своего племени медведю — соседу в Оленецкой губернии в 1925 г.³⁰ Браки внутри тотемного рода, как известно, были запрещены и такие взаимоотношения невозможны.

Образ шамана-предка тотема — и его ритуальное умерщвление имеет свои истоки в первобытном каннибализме. Такой аспект следует отделить от образа зверя в промысловом культе и камлании перед началом сезона охоты или в сезон. Заметим, что символика сгруппирована в обряде двояким образом. С одной стороны, шаман моделирует взаимоотношения родов, с другой — отношения животных в сезон, что диктовалось чувством экологической общности, присущим индивидуумам этой эпохи. «Эти короткие предания отражали... восприятие окружающего мира, когда все живые существа, будь то растение, животное или человек, отождествлялись друг с другом. При таком мировоззрении считалось вполне возможным превращение человека в какое-либо животное, птицу...»³¹. «Алтайцы запрещали стрелять в глаза и уши всякому животному (не только тотемному. — *Авт.*), так как верили, что охотник ослепнет или у него заболит домашние. Теленгиты кидали глаза убитых зверей в тайгу, говоря, что Алтай даст их другому зверю». Людьми не был не замечен и факт вражды между животными: «...Можно убивать врагов тотема...»³². Шаман, прежде чем принять облик зверя—объекта охоты, имитирует отношения между родами, однако заметим, что, вступая в связь с женщиной другого рода, на территории которого велась охота, он фактически проецирует эти отношения на уже сложившиеся свадебные обычаи. Так, у телеутов сохранился обычай дарить убитого лебедя дяде по линии мате-

ри, если сватали его дочь. Так как тотемом был лебедь, пришедшим свататься практически невозможно было отказать, ибо тотем выступал в виде заменителя члена рода³³. Нередко шаман имитирует и родственные взаимоотношения (например, вскармливание шамана грудью духа-рыбы и т. п.). В любом случае он входит «своим» в род духов-подателей жизни животных. Важным условием для этого была смерть шамана, освобождение от своего духа, чтобы стать вместелицем другого. Прodelывалось это либо в имитации смерти, как правило, насильственной (понимание смерти как насильственного акта свойственно сознанию этой эпохи), изображая ранение, расчленение, а иногда и поедание (трансформацию) духами самого себя. В частности, Леви-Брюль пишет, что шаман в ходе камлания имитирует поражение головы (например, копьем), поражение и замещение новыми внутренними органами тела, безумие³⁴. Шаман, умирая, становится жертвой. Так, у якутов считалось, что лишь те духи, до которых долетели капли крови и куски мяса шамана, будут ему помогать³⁵. Кроме того, до недавних пор причинами болезней у сибирских народов считалось вселение в больного человека духа животного, «грызущего» внутренности, известны случаи названий многих болезней по названиям животных (рак, свинка, жаба и др.)³⁶. Распространены случаи задабривания духов—отдать ему душу врага или, например, «белого барана или другого животного, после чего дух разрешит шаману подняться на небо»³⁷.

Здесь необходимо учитывать психологические моменты, в частности, что в условиях охоты смерть как и наличие жертв со стороны человека, были реально возможными. Жертва — обязательный символ охоты. Шаман, «предлагаясь» в качестве жертвы, провоцировал духов на сближение, контакт. Аналогичный характер носят обряды человеческих жертвоприношений богам плодородия и скота. «Умирал» он и в ходе инициации, становясь шаманом. Наряду с таким видом смерти шаман мог имитировать другую мнимую смерть, — сон, безумие. Состояние сновидца достигалось у многих народов путем использования ритуальных напитков. Известны мухоморные опьянения у палеоазиатов Камчатки и Чукотки, особый песенный жанр у ненцев, жанр «хмельных голосов», или «винных голосов», у айгонов, у нганасан пьяные отождествлялись с прорицателями, а сновидцы имели спо-

способность общаться с духами, считали они³⁸. Можно привести примеры принятия ритуальных напитков у многих других народов. Шаман мог ввести себя в такое состояние и без подобных средств. Поэтому кандидатом в шаманы становился легко возбудимый человек³⁹. Этот факт натолкнул некоторых исследователей на мысль о психической неполноценности шаманов, считая сумасшествие причиной возникновения идеи об умирающем и воскрешающем звере⁴⁰. Человеком с расстроенной психикой считал шамана К. А. Леви-Строс⁴¹. Он считал, что шаману свойственна «болезнь» мышления⁴². Однако, как мы видим, у шамана присутствует своя логика работы с символами, четко привязанная к существующим производственным и социальным взаимоотношениям, иначе его камланию не придавалось бы столь важное значение. Об этом свидетельствует и ответ эскимосского шамана К. Расмуссену: «Мы вооружены всеми житейскими правилами, выработанными мудростью и опытом поколений»⁴³.

Отталкиваясь от понятия жизненной силы, являющейся критерием при отборе символов, сознание индивидуума этой эпохи фиксирует и символы, угрожающие ей, вызывающие состояние волнения или страха, символы стресс-факторов. Стресс представляет собой адаптацию человека к критическим факторам среды. Стрессогенной ситуацией для группы охотников был сам факт наличия охоты. Уход от стрессогенной ситуации может проявляться в так называемом замещающем действии, которое, не разрешая критической проблемы, порождающей стресс, уменьшает в той или иной мере предрасположенность субъекта к стрессу, т. е. снижает эффект внутреннего стресс-фактора. Существует мнение, что феномен «замещающей» деятельности при стрессе является принадлежностью определенных этапов развития человечества⁴⁴. В основе его — манипуляция с символами того, чего на самом деле боятся или ненавидят. Подобные действия лежат в основе любого обрядового действия, особенно магии. Так, при стрессе, наряду с другими путями формирования психической устойчивости, лежит неоднократное переживание ситуации риска, состояний напряженности, внимания вместо состояния тревожности, но наиболее сильным оказывается переживание индивидуумом собственной смерти. В любом случае для достижения нормального, восстановленно-

го гомеостаза необходимо чувство торжества победы над стресс-фактором⁴⁵.

Используя символы стресс-факторов, шаман путем зрелищности и подражания моделирует в сознании участников обряда и для самого себя стрессовую ситуацию, давая возможность участникам обряда овладеть стресс-фактором и принять решение, укрепляя нервную систему участников и повышая их жизнеспособность. Ведя свое происхождение от амбивалентных эмоций⁴⁶, подобные камлания носят промысловый, рациональный характер и, несмотря на сезонность и преобладание экологического фактора в сознании, являются уже результатом осмысления действительности.

Как показывают исследования, при сильных стрессах преобладает активное защитное реагирование, при длительных и более слабых — тактика пассивного переживания на фоне негативных эмоций. При стрессе наблюдается и активизация мышления, познавательных процессов. Так, с изменением вероятностных характеристик среды наличествуют активизация, гиперактивизация мышления или уход от решения стрессогенных проблем⁴⁷. Все эти факторы прослеживаются в ходе шаманского камлания вплоть до «выхода» шамана из него. Таким образом, шаман мог в ходе камлания решать вопросы, связанные с определением погодных условий, времени прихода объектов охоты, т. е. имеющие практическое значение для ведения охоты.

Заключительный этап камлания — возвращение шамана в облик зверя. Факт перерождения шамана в животное, так же, как и идея «умирающего и воскрешающего зверя»⁴⁸, продиктована архаическому сознанию сезонностью природных процессов, миграциями животных и собственной биоритмикой, поэтому состояние смерти примыкает к перерождению и окружено всей символикой погребального обряда. Первая часть шаманских мифов и легенд может служить источником по характеру погребальных обрядов⁴⁹. Вселившийся в шамана дух животного преобразует его в глазах других участников обряда, этому преобразованию способствует и сам костюм шамана, нередко он изображал не одного зверя, а сразу нескольких, символы которых наносились на его костюм: рога оленя, перья орла или других птиц и т. д. Тесная взаимосвязь в сознании символа и его носителя спо-

собствовала этому преобразению⁵⁰. Имитируя поведение животных, шаман предоставлял возможность, в особенности молодым участникам обряда, обучиться и получить информацию. Наряду с этим в своей символике шаман олицетворял и самого охотника, об этом говорит наличие у него орудий охоты — бубна и колотушки, «созывающих духов», ударных инструментов, очевидно, загонной охоты. До применения бубна основным элементом культового действия был лук. Сам бубен, чья форма облегчала и ориентировку на местности, нередко был разделен на четыре части, расписан соответствующей сезонной символикой — дерево, объект охоты, солнце, луна, птицы и т. п.⁵¹ Этим объясняется и коллективный характер изготовления бубна. Имитация охоты находит свое отражение в обрядовых танцах, где мужчины танцуют с бубном, а женщины изображают объект охоты или птиц. По возвращении шамана в облике зверя присутствующие начинают ловить его⁵². Шаман своими действиями подражает поведению животного. Так, художником, этнографом Дж. Кэтлингом были описаны бизоньи пляски с целью привлечь бизоньи стада, медвежьи, лыжные пляски по первому снегу у племен Северной Америки⁵³. Известны тотемические пляски у народов Африки, например у бечуанов. Чтобы узнать род человека, достаточно было спросить у него: «Что ты плясешь?»⁵⁴. Речь, очевидно, шла о тотемных танцах, ибо существовало убеждение, что, имитируя поведение животного, можно вызвать его присутствие⁵⁵. Символ шамана как охотника тесно связан с символом богатыря и его интерпретацией как зверя-покровителя⁵⁶.

Беглый обзор такой сложной проблемы, как обряд камлания, дает возможность утверждать, что шаман в камлании представлял собой многозначный символ, на его фигуре замыкалась практически вся символика семиосферы цивилизации охотников-рыболовов, аналогично объединению символики в храме и более поздних эпох. В зависимости от характера и целевой направленности ритуала (врачевания, возрастных инициаций, производственного камлания) шаман извлекал из своего арсенала соответствующую символику и направлял ее в определенной последовательности и ритме к цели. Символика основывалась на ключевых символах территориальной общности, социальной принадлежности и т. д., разворачиваясь в

ходе обряда при доминировании одних символов над другими. Многозначность или многоликость символа позволяла интерпретировать его в нескольких обрядах, что было замечено В. Тернером⁵⁷. Будучи одной из важнейших категорий искусства — психологии, философии — категория символа подробно рассматривалась в психоанализе и интеракционализме, где символы интерпретировались как явление, оторванное от структуры реальных социально-экономических взаимоотношений. С нашей точки зрения анализ символа с учетом специфики производственной деятельности позволяет определить его как знак, сконструированный в ходе освоения реальности социумом и сознательно употребляемый для решения проблем производства и воспроизводства, путем моделирования ситуаций, характерных этим процессам.

Подобные камлания шаманов служили также средством психогенной тренировки, обучению молодежи методам и приемам охоты, в ходе которой молодежь получала статус полноправного члена социума. Этим можно объяснить сходство ритуалов камлания с ходом инициации в древних культурах. Анализ самих приемов моделирования реальности шаманом с учетом экономической модели социума может дать ряд интересных результатов в решении проблемы конструирующей деятельности мышления в отдаленные периоды истории.

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 21. — С. 25—26.

² Басилов В. Н. Избранные духов. — М., 1984. — С. 133.

³ Там же. — С. 134.

⁴ Новик Е. С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. — М., 1984. — С. 151.

Анисимов А. Ф. Шаманский чум у эвенков и проблема происхождения шаманского обряда // Сибирский этнографический сборник. — Л., 1952. — Т. 1.

⁶ Алексеев Н. А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. — Новосибирск, 1980.

⁷ Анисимов А. Ф. Шаманский чум у эвенков и проблема происхождения шаманского обряда // Сибирский этнографический сборник. Т. 1. — С. 119.

⁸ Новик Е. С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. — С. 191.

⁹ Там же. — С. 209.

¹⁰ Фрэйд З. Тотем и табу. — М.; Пг., 1923. — С. 96; а также: Окладников А. П. Утро искусства Охотники, собиратели, рыболовы. — Л., 1967.

¹¹ Хайнд Р. Поведение животных. — М., 1975. — С. 30.

¹² Топоров В. В., Иванов В. Н. Славянские языковые моделирующие системы. — М., 1965.

- ¹³ Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. — М., 1982. — Вып. 9. — С. 167.
- ¹⁴ *Алексеев Н. А.* Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. — С. 73.
- ¹⁵ *Георгадзе Г. О.* Дома царя в хеттских клинописных источниках // Культурное наследие Востока. — Л., 1985. — С. 79.
- ¹⁶ *Леви-Стросс К.* Печальные тропики. — М., 1984. — С. 171.
- ¹⁷ *Басилов В. Н.* Избранники духов. — С. 8.
- ¹⁸ *Токарев С. А.* Религия в истории народов мира. — М., 1975. — С. 130.
- ¹⁹ *Там же.* — С. 144.
- ²⁰ *Дьяконова В. П.* Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник. — Л., 1975. — С. 45.
- ²¹ *Алексеев Н. А.* Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. — С. 135—137.
- ²² *Токарев С. А.* Религия в истории народов мира. — С. 66, 113.
- ²³ *Алексеев Н. А.* Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. — С. 66.
- ²⁴ *Там же.* — С. 258.
- ²⁵ *Новик Е. С.* Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. — С. 139.
- ²⁶ *Рыбаков Б. А.* Язычество древних славян. — М., 1981. — С. 285—354.
- ²⁷ *Соколова В. П.* Культ животных в религиях. — М., 1972. — С. 114, 73, 74.
- ²⁸ *Мифы народов мира: В 2 т.* — М., 1982. — Т. 2. — С. 638.
- ²⁹ *Чернолуцкая Е. Н.* О семантике антропоморфных изображений в наскальном искусстве австралийцев // Антропоморфные изображения: Сб. ст. — М., 1987. — С. 212.
- ³⁰ *Соколова В. П.* Культ животных в религиях. — С. 114.
- ³¹ *Алексеев Н. А.* Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. — С. 104.
- ³² *Соколова В. П.* Культ животных в религиях. — С. 39.
- ³³ *Алексеев Н. А.* Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. — С. 112.
- ³⁴ *Леви-Брюль Л.* Первобытное мышление. — М., 1923. — С. 240—241.
- ³⁵ *Мифы народов мира.* — Т. 2. — С. 639.
- ³⁶ *Зеленин Д. К.* Идеология сибирского шаманства. — М., 1935. — С. 720.
- ³⁷ *Там же.* — С. 714.
- ³⁸ *Новик Е. С.* Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. — С. 132.
- ³⁹ *Басилов В. Н.* Избранники духов. — С. 145.
- ⁴⁰ *Зеленин Д. К.* Идеология сибирского шаманства. — С. 743.
- ⁴¹ *Леви-Стросс К.* Структурная антропология. — М., 1983. — С. 160.
- ⁴² *Там же.* — С. 163—166.
- ⁴³ *Токарев С. А.* Религия в истории народов мира. — С. 138.
- ⁴⁴ *Китаев-Смык Л. А.* Психология стресса. — М., 1983. — С. 207.
- ⁴⁵ *Там же.* — С. 262—269.
- ⁴⁶ *Москалец В. П.* Социально-психологические особенности функционирования и преодоления религиозного культа. — Киев, 1988, С. 33.
- ⁴⁷ *Китаев-Смык Л. А.* Психология стресса. — С. 73, 202.

- ⁴⁸ *Богораз-Тан В. Г.* Миф об умирающем и воскрешающем звере // *Художественный фольклор: В 2 т. — М., 1929. — Т. 1.*
- ⁴⁹ *Мифы народов мира. — Т. 2. — С. 548.*
- ⁵⁰ *Токарев С. А.* Религия в истории народов мира. — С. 190.
- ⁵¹ *Басилов В. Н.* Избранники духов. — С. 80, 87, 130.
- ⁵² *Новик Е. С.* Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. — С. 152.
- ⁵³ *Токарев С. А.* Религия в истории народов мира. — С. 144.
- ⁵⁴ *Там же.* — С. 165.
- ⁵⁵ *Там же.* — С. 140.
- ⁵⁶ *Соколова В. П.* Культ животных в религиях. — С. 100.
- ⁵⁷ *Тернер В.* Символ и ритуал. — М., 1983. — С. 125.
- ⁵⁸ *Краткий психологический словарь. — М., 1985. — С. 320.*

Г. Г. Почепцов (мл.)

7. Слухи как семиотический феномен

Слух является актуализацией потребности в информации, замалчиваемой официальными каналами, и отвечает интенциям и ожиданиям участников коммуникации. Слух принадлежит сфере устной культуры и связан с коммуникативными схемами фольклорного типа.

Рассматривается механизм порождения и циркуляции слухов как особого семиотического явления в системе общественных коммуникаций.

Семиотическое исследование должно осуществить выбор между двумя возможными направлениями своего развития — между сигнификацией и коммуникацией как предполагаемыми основаниями для построения теории. Многие исследователи останавливаются свой выбор именно на коммуникативном аспекте¹.

Такая коммуникативная единица, как слух, являясь достаточно частотным элементом массового общения, значительно реже попадает в обиход общения научного. О распространенности этого явления свидетельствуют данные социологических исследований. Так, отвечая на вопрос «Часто ли приходится сталкиваться со слухами?», вариант ответа «иногда» дали 65% опрошенных г. Ленинграда (среди опрошенных служащих с высшим образованием эта цифра оказалась еще выше — 71%)². Слухи представляют определенный интерес с чисто теоретической стороны природой своего самостоятельного распространения и тем, что средства массовой коммуникации, являясь более организованными, более мощными, в то же время не могут достаточно оперативно приостанавливать распространение этого вида массовой информации.

© Г. Г. Почепцов (мл.), 1990

Одно из определений слухов, принадлежащее Т. Шибутани, гласит — это «циркулирующая форма коммуникации, с помощью которой люди, находясь в неоднозначной ситуации, объединяются, создавая разумную ее интерпретацию, сообщая используя при этом свои интеллектуальные потенции»³.

Каковы коммуникативные характеристики слуха? Согласно классификации Ю. В. Рождественского⁴, для слуха характерна однократная воспроизводимость перед данным слушающим. Второй раз одному и тому же лицу слух не пересказывается.

Важным отличием является и то, что слух обязательно подвергается дальнейшей циркуляции. Слушающий затем становится говорящим и передает этот слух дальше. Этот тип сообщения можно назвать самотрансляционным. Для него не требуется создания помогающих внешних условий. И даже более того: противодействующие ситуации не всегда могут помешать распространению слуха. Таким образом, мы бы хотели охарактеризовать данный тип сообщения свойством самотранслируемости. К подобным сообщениям относятся также и анекдоты. Другой полюс этой шкалы займут трудно транслируемые сообщения. Затруднения трансляции могут быть вызваны как содержательными аспектами (например, статья по квантовой физике в массовой печати), так и специальными ограничениями, регулируемым обществом (например, гриф «совершенно секретно» или процедура спецхранения в библиотеке, архиве). В последнем случае мы можем иметь дело и с самотранслируемым сообщением, но для приостановки этой трансляции созданы формальные ограничители. Иногда они носят временный характер (например, некоторые документы не допускаются к использованию на протяжении пятидесяти лет).

Самотранслируемое сообщение таково, что его трудно удержать в себе. Человек в любом случае старается передать его дальше, а передав, испытывает психологическое облегчение. Эта особенность данного вида информации отражена и в фольклоре. Вспомним: цирюльник не мог успокоиться, пока не произнес страшную тайну «У царя Мидаса ослиные уши» хотя бы в яму, т. е. фиктивному слушающему. И высказавшись, стал обыкновенным человеком.

Можно предложить несколько объяснений этому свойству самотранслируемости.

Во-первых, достаточно часто слух содержит информацию, принципиально умалчиваемую средствами массовой коммуникации. Естественно, что подобная информация интересует многих и потому легко передается. Верно и обратное: слух никогда не повторяет того, о чем говорят средства массовой коммуникации. То есть мы имеем следующие соответствия: зона молчания массовой коммуникации равна зоне говорения слуха, зона говорения слуха равна зоне молчания массовой коммуникации.

Во-вторых, в более широком плане следует отметить, что слух, вероятно, есть косвенное проявление коллективного бессознательного, определенных архетипических (по К. Юнгу⁵) феноменов. Это ответ на коллективные тревожные ожидания, хранящиеся в каждом. Интересно, что на эксплуатации этого свойства человеческой природы покоится целый пласт явлений массовой культуры. Как пишет Н. Кэрролл, «ужас расцвел в качестве основного источника массового эстетического возбуждения»⁶. Подтверждением этого могут служить даже названия типов слухов, классифицируемых исследователями: слух-желание, слух-пугало, агрессивный слух⁷.

Слух как коммуникативная единица опирается на определенные, иногда затемненные коммуникативные намерения. Однако он материализует их вовне, проявляет, фиксирует. А. Богданов называл подобные фиксации термином «депрессия»: «Психическая и социальная жизнь отличаются наибольшей пластичностью форм и потому особенно нуждаются в депрессиях. Они вырабатываются в виде, например, многообразных символов, норм и т. д. Так, слово своей устойчивостью фиксирует систему психических ассоциаций, образующих содержание понятия, без этого символа они постоянно расплывались бы в неопределенности изменчивой психической среды»⁸.

В-третьих, слух это ответ на общественное желание, представление. В нем заключен отнюдь не индивидуальный интерес. И раз так, то наши мерки, выработанные при анализе общения индивидуального, слабо переносимы на этот качественно иной тип общения. Реально слух — это общение толпы. Элементы строгой логики здесь практически неприменимы. В. М. Бехтерев писал: «Толпа связывается в одно целое главным образом настроением, а потому с толпой говорить надо не столько убеждая, сколько рассчи-

тывая победить ее горячими словами. А когда это достигнуто, остается только повелевать, приказывать и давать всем пример, ибо последний действует подобно внушению, чем обычно и пользуются все знаменитые военачальники»⁹. И далее: «Всякий индивид, поглощаемый толпой, теряет в тормозящих влияниях и выигрывает в оживлении сочетательных рефлексов раздражительного характера. В толпе индивид утрачивает благодаря действию внушения значительную долю критики при ослаблении и притуплении нравственных начал, при повышенной впечатлительности и поразительной внушаемости». Х. Босмаджян, в свою очередь, показывает, что функционирование абсолютно противоположных друг другу высказываний несколько не противоречит воздействию на толпу в рамках гитлеровской пропаганды¹⁰.

Важной семиотической составляющей, характерной для слуха, является его устность. Слух принципиально принадлежит неписьменной коммуникации. Он распространяется в устной среде, теряя многие свои качества, попадая на страницы, например, газет. Там он служит лишь поводом для опровержения или подтверждения, однако при этом не является уже самостоятельной единицей.

Устный тип коммуникации сегодня недооценен в связи с всепоглощающим характером письменного общения. Как писал А. Н. Гиляров, «наша современная культура в значительной мере бумажная. Прекращение бумажного производства изменило бы жизнь в различных отношениях». И далее: «Судьба нашей «бессмертной» мысли в значительной мере зависит от качества «тленной» бумаги»¹¹.

Ю. М. Лотман подвергает сомнению деление на низшую и высшую стадии по отношению к устной (письменной) коммуникации. «Для того чтобы письменность сделалась необходимой, требуются нестабильность исторических условий, динамизм и непредсказуемость обстоятельств и потребность в разнообразных семиотических переводах, возникающих при частых и длительных контактах с иноэтнической средой»¹².

Некоторые сообщения и в современном письменном обществе носят принципиально устный характер. Это — все бытовые разговоры, разного рода неофициальная информация об официальных событиях, которая может попасть на страницы только в мемуар-

ной литературе. От них зависит, например, репутация врача, лекарства, ибо «рекламной информации на эти темы по каналам массовой информации доверия значительно меньше»¹³.

Более того, с семиотической точки зрения (активно поддерживаемой результаты работы психологов Л. Выготского и Ш. Амонашвили), следует признать письменную и устную стихию столь же отдаленными друг от друга, как, например, речь устную и музыкальную. Однако мы все время хотим объединить их, увидеть общее, забывая о существенных различиях. Хотя, как справедливо отмечает Дж. Киттей, не все виды устной речи могут адекватно фиксироваться письменностью, и общество не выработало этих приемов фиксации сознательно¹⁴. Поэтому следует говорить об автономии этих двух семиотических языков, тогда естественно возникает проблема переводимости (непереводимости), проблема остатка. К подобным остаточным явлениям, характерным только для устной формы, Дж. Киттей относит хезитации, исправления, нарушения грамматичности, повторы. Это действительно те элементы, которые старательно редактируются и уничтожаются в письменной речи.

Слухи являются устными по своему функционированию. Однако *устность* как семиотическая категория — более всеохватывающая структура и требует к себе серьезного внимания. Этот тип конвенционализации сообщения (в терминах) качественно иной, чем тот, к которому мы привыкли в условиях коммуникации письменной.

Попытаемся обнаружить эти иные параметры, поскольку они одновременно будут характеризовать и слух как единицу именно этой, а не письменной сферы.

Устность сориентирована на получателя сообщения. Только то, что интересно, может передаваться, сопротивляясь естественному затуханию. К. Бурке выделяет психологию информации, характерную для воспринимающей аудитории, в отличие от психологии формы, характерной для точки зрения создателя сообщения¹⁵. Психология информации при этом управляется удивлением и тайной. На подобные составляющие выходит в 1924 г. А. П. Скафтымов: «Редкое художественное повествование обходится без стремления к эффектам неожиданности и удивления. На тревогах загадочности неопределенного колебания дей-

ствующим сил строится занимательность огромного большинства эпических и драматических произведений, начиная от простонародного анекдота, бульварного романа и кончая высокими образцами классических трагедий. Загадочность, неожиданность и иные интригующие и удивляющие эффекты, сообщая рассказу и ходу действия увлекательность напряжения и подъема, содействуют художественному самозабвению читателя и зрителя и скорее всего достигают цели привлечения и закрепления интересов к рассказу. Но эффект занимательности имеет и более глубокий смысл. Напряжение читателя и зрителя соответствует напряжению творческих стремлений автора. Всякий момент загадочности, тревоги и удивления бывает направлен к тому, что сам автор имеет в виду выделить и представить удивительным. Следовательно, объектом направленности таких эффектов в сознании автора всегда является то, что ему самому представляется важным и значительным, волнующим»¹⁶ (ср. близкие наблюдения о синхронизации впечатлений героев и зрителей в фильме ужасов¹⁷). З. Кракауэр особенно выделяет кино в аспекте отражения коллективной психологии: «Фильмы отражают не столько определенные убеждения, сколько психологические настроения, те глубокие пласты коллективной души, которые гораздо глубже сознания. О господствующих тенденциях социальной психологии можно, конечно, многое узнать из популярных журналов, радиопередач, бестселлеров, рекламы, модной лексики и других образчиков культурной жизни народа. Но кинематограф во многом превосходит эти источники»¹⁸.

Думается, что элементы массовой культуры отличаются от культуры «элитарной» использованием именно этих аспектов устности. Поэтому массовая культура жестко сориентирована на интересы зрителя (читателя). И для нее в сильной степени характерно не влияние «автор (книга)→читатель», а обратное влияние «читатель→автор». Подобное влияние прослеживается в работах У Эко¹⁹, Л. Шюкинга²⁰ Ю. М. Лотман в этом ключе рассматривает отличие поведения фольклорной аудитории от аудитории сегодняшней: «Положение фольклорной аудитории отличается в принципе. Фольклорная аудитория активна, она непосредственно вмешивается в текст: кричит в балагане, тычет пальцами в картины, притопывает и подпевает. В кинематографе она криками подбадри-

вает героя. В таком поведении ребенка или носителя фольклорного сознания «цивилизованный» человек письменной культуры видит «невоспитанность». На самом деле перед нами иной тип культуры и иное отношение между аудиторией и текстом»²¹.

Таким образом, перед нами серия принципиально иного коммуникативного поведения. Оно настолько отлично от принятого, что зачастую оценивается заниженно, рассматривается как находящееся за пределами нормы. Слух — также элемент этой инонормы. Его особый характер заключен в особой тематике. События, попадающие в эту сферу, отличаются, как правило, определенной терминальностью (ср. характерные примеры: смерть известного певца, предсказание грозного землетрясения). Назовем такие события терминальными. Действующими лицами в них оказываются популярные личности: «Слух обычно стремится к персонификации и концентрируется вокруг известных людей — писателей, ученых, артистов, спортсменов»²². Таким образом, определенная яркость содержания слуха достигается как терминализацией представленных в нем событий, так и популярностью героев этих событий.

Яркость слуха сродни с подобной характеристикой зрелищности театра, мелодрамы. Ясно, что незатухающее сообщение должно быть принципиально выше по яркости, подобно тому как театральное событие должно отличаться от бытового. Это подмечено теоретиками театра Г Шпетом и М. Гершензоном. «Театральное действие есть непременно какое-то условное, символическое действие, есть знак чего-то, а не само действительное что-то, произведенное, равно как и не просто копия, — безыскусственная, технически, фотографически точная, — воспроизводящая действительность»²³. «Драма похода на театральные декорации: их видят издали, и потому в них нужны преимущественно основные, резкие линии, сравнительно грубые контрасты света и тени; драма так же отличается от повести и романа, как декорация от акварельной картины»²⁴. Тот же Г Шпет разграничивал достаточно четко: «Драматург — еще не писатель»²⁵.

Определенные литературные направления типа романтизма также эксплуатируют это свойство привлечения внимания, соответственно там всюду расцветает экзотический фон, на котором происходит действие, героями являются неординарные личности. Как

результат — гораздо большая фокусировка внимания аудитории. А. И. Белецкий писал: «Для романтика необходима декорация, и при том выписанная во всей своей яркости и индивидуальной пестроте (отсюда романтический экзотизм, национализм, универсализм и под.). Поэтому фон действия приобретает иногда почти самодовлеющее значение. Становятся возможными произведения, состоящие из одной декорации, на фоне которой мы не увидим никого, кроме автора»²⁶.

Но в отличие от громогласности театра, литературы, слух может рассказываться шепотом. Очень немногие вещи можно сказать понизив голос, например, объяснение в любви — тот же слух, но не прогноз погоды. Все подобные вещи принадлежат сфере устности.

Таким образом, с точки зрения семиотики мы можем характеризовать слух как самотранслируемое сообщение, осуществляющее свою циркуляцию за счет: а) отражения определенных коллективных представлений, вероятно, коренящихся в бессознательном; б) устности как иносемиотичной среды функционирования; в) терминальности представленных событий, популярности их героев, отражающихся в яркости.

События, вытесненные с газетной страницы в слуховую передачу, в разные периоды различны. То, что ранее могло пройти только на уровне слуха, сегодня вполне оказывается реальным и на газетных страницах (ср. узбекские дела, нарушения, связанные с репрессиями 37 года). Как писал Ю. Тынянов и Б. Казанский, «литературный факт — от эпохи к эпохе — понятие переменное: то, что является «литературой» для одной эпохи, то не было ею для предыдущей и может снова не быть для следующей»²⁷. Подобное можно сказать и о слухе: то, что было в разряде слухов в одну эпоху, становится газетным сообщением в другую. Такой информационный круговорот связан, видимо, с тем, что слухи — это как бы кусок текста, сознательно утерянного в рамках официальной культуры. Этот текст противоположен ей и потому не высказывается открыто.

Если официальные факты имеют авторство, то слухи принципиально анонимны. Здесь имеет место как бы утрированный вариант разговора с самим собой. Только если дневник — это разговор индивидуального сознания, то слух — это разговор коллективного сознания с коллективным же сознанием. Это осо-

бый разговор с самим собой, подобный тому как один из последователей Дж. Лакана охарактеризовал общение в качестве возвращения человеку от собеседника его же мысли только с несколько иной точки зрения²⁸.

Одно из шуточных определений рекламы гласило: реклама — это искусство говорить вещи, приятные для вас²⁹. Следует признать, что и слухи представляют собой желаемую информацию. Ведь даже негативные предсказания в них все равно принимаются на веру. Такова психология человека. Такова психология восприятия информации. И пока она есть, с ней следует считаться. Точно так же слухи, как и другие явления устной сферы, должны быть признаны реальными коммуникативными единицами нашего общения.

- ¹ Eco U. A theory of semiotics. — Bloomington; London, 1976. 354 p.; Culler J. Semiotics: communication and signification // Image and code. — Michigan, 1981. — P. 78—84; Почецов Г. Г. (мл.) Коммуникативные аспекты семантики. — Киев, 1987. — 131 с.
- ² Лосенков В. А. Социальная информация в жизни городского населения. — Л., 1983. — 102 с.
- ³ Shibutani T. Improvised news: A sociological study of rumor. — Indianapolis; New York, 1966. — P. 17.
- ⁴ Рождественский Ю. В. Введение в общую филологию. — М., 1979. — 224 с.
- ⁵ Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Вопр. философии. — 1988. — № 1. — С. 133—152.
- ⁶ Carroll N. The nature of horror // J. of Aesthetics and Art Criticism. — 1987. — Vol 46, N 1. — P. 51.
- ⁷ Шерковин Ю. А. Стихийные процессы передачи информации // Социальная психология. — М., 1975. — С. 185—194.
- ⁸ Богданов А. Принцип относительности с организационной точки зрения // Богданов А. Всеобщая организационная наука (Тектология). — Л.; М., 1929. — Ч. 3. — С. 141.
- ⁹ Бехтерев В. М. Коллективная рефлексология. — Пг., 1921. — С. 76.
- ¹⁰ Bosmajian H. A. Hitler's twenty five point program an exercise in propaganda before «Mein Kampf» // The Dalhousie Review. — Vol. 49, N 2. — P. 208—215.
- ¹¹ Гиляров А. Н. Философия в ее существе, значении и истории. — Киев, 1918. — Ч. 1. — С. 77.
- ¹² Лотман Ю. М. Несколько мыслей о типологии культур // Языки культуры и проблемы переводимости. — М., 1987. — С. 11.
- ¹³ Неверов С. В. Язык как средство убеждения и воздействия в общественно-языковой практике современной Японии // Язык как средство идеологического воздействия. — М., 1983. — С. 205—218.
Kittay J. On octo // Romanic Review. — 1987. — N 3. — p. 291—298.
Burke K. Counter — Statement. — Chicago, 1957. — 219 p.

- ¹⁶ *Скафтымов А. П.* Поэтика и генезис былин. — М., 1924. — С. 49.
- ¹⁷ *Carroll N.* The nature of horror // *J. of Aesthetics a. Art Criticism.* — 1987. — Vol. 46, N 1.
- ¹⁸ *Кракауэр З.* Психологическая история немецкого кино. — М., 1977. — С. 15.
- ¹⁹ *Есо U.* The role of the reader. Explorations in the semiotics of texts. — Bloomington; London, 1979. — 288 p.
- ²⁰ *Шюкинг Л.* Социология литературного вкуса. — Л., 1928. — 179 с.
- ²¹ *Лотман Ю. М.* Блок и народная культура города // Уч. зап. Тарт. ун-та. — 1981. — Вып. 535. — С. 10—11.
- ²² *Менделеев А.* Козни «мадам молвы» Как возникают слухи // Лит. газ. — 1969. — 3 дек.
Шпет Г. Театр как искусство // Мастерство театра. — 1922. — № 1. — С. 31.
- ²⁴ *Гершензон М.* Видение поэта // Мысль и слово. — М., 1918. — С. 89.
Шпет Г. Театр как искусство // Мастерство театра. — 1922. — № 1. — С. 45.
- ²⁶ *Белецкий А. И.* Очередные вопросы изучения русского романтизма // Русский романтизм. — Л., 1927. — С. 13.
- ²⁷ *Тынянов Ю., Казанский Б.* От редакции // Фельетон. — Л., 1927. — С. 6.
- ²³ *Lacan J.* The language of the self. The function of language in psychoanalysis. — New York, 1968. — 338 p.
- ²⁹ *Walker R. R.* Communicators. — Melbourne, 1967. — 426 p.

А. М. Еременко

8. Семиотические механизмы переноса вины в группе

Автор анализирует семиотические аспекты социально-ролевого поведения, связанные с механизмами вменения и переноса вины в группе. Раскрывается статус и значимость такого феномена социальной психологии, как «козел отпущения», — особого рода жертва, необходимая в целях восстановления некоего незыблемого порядка.

Общеизвестна та огромная роль, которую играют в обществе знаковые системы. Практически любое действие человека так или иначе связано с употреблением знаков. Более того, поскольку всякий индивид является элементом той или иной социальной общности, его «значение» определяется местом, занимаемым им в структуре общности. В определенном смысле он сам является знаком, а его поведение — знаковым. В данной статье мы рассмотрим под таким углом зрения одну из широко распространенных социальных ролей «козлов отпущения».

Как известно, в современной социальной психологии существует множество различных определений

© А. М. Еременко, 1990

таких ее ключевых понятий, как «статус», «позиция», «роль», «ролевое поведение» и т. п.¹ Поскольку у нас нет возможности и необходимости углубляться в этот вопрос, мы примем ту широко распространенную точку зрения, согласно которой *позиция* — это место индивида в системе социальных отношений, а *роль* — это реальное поведение индивида в данной позиции, ряд действий, соответствующих его позиции.

Каковы основные характерные особенности рассматриваемой нами позиции? «Козел отпущения» — это:

1) индивид, который является в данной группе постоянным и неизменным объектом для насмешек, оскорблений, указаний или даже физического воздействия, сам же либо не имеет права на подобные действия по отношению ко всем остальным членам группы, либо его ответные попытки насмешек, указаний и т. п. являются настолько нерелевантными, что легко игнорируются группой;

2) индивид, на которого стараются возложить как можно больше неприятных, тяжелых или вообще невыполнимых обязанностей;

3) индивид, в случае успеха действий которого заслуга приписывается другим членам группы (чаще всего лидеру), в случае же неуспеха действий кого-либо из членов группы (особенно лидера) или всей группы в целом виновным объявляется данный индивид;

4) индивид, которому в наименьшей мере по сравнению с другими членами группы позволено отступление от норм группы (согласно концепции идиосинкразического кредита).

Из изложенного ясно, что в позицию «козла отпущения» попасть довольно легко, но очень трудно из нее выйти. И это понятно: ведь каждый член группы догадывается, что если индивид, занимающий позицию «козла», покинет ее, то кто-то другой займет его место. Поэтому, как правило, вся группа старается не позволить индивиду переместиться с позиции «козла отпущения» на какую-либо иную. «Козел отпущения» чаще всего вынужден бороться за изменение своего статуса со всей группой.

Основным способом для индивида выйти из позиции «козла» является оказание группе очень больших услуг (например, спасение группы от гибели), причем таким образом, чтобы оказалось совершенно не-

возможным приписать эти услуги какому-либо другому члену группы.

Описанные выше характерные особенности позиции «козлов отпущения» позволяют, на наш взгляд, обосновать тезис о чрезвычайно важной роли «козлов» в обществе. «Козлы отпущения» обеспечивают спокойствие и уверенность в себе всех остальных членов группы. Они дают возможность другим членам группы сосредоточиться на задачах, стоящих перед группой, полностью отдаться делу группы, быть упорными, смелыми, настойчивыми в достижении успеха, если нужно — безбоязненно рисковать.

Когда члены складывающейся или измененной структуры группы еще не знают, кто будет «козлом», тогда группа действует боязливо, неуверенно, нерешительно, так как каждый индивид опасается оказаться в роли «козла», совершив одну или несколько незначительных ошибок.

Для того, чтобы группа действовала более или менее успешно, необходимо, чтобы основная масса ее членов, и прежде всего лидер, были в той или иной мере застрахованы от жестких отрицательных санкций в случае неудачных действий. Функцию этого страхования группа возлагает на «козлов». Именно эти субъекты «разряжают» группу, принимая на себя ее гнев в случае неудачи групповой деятельности или действий лидера, именно они несут на себе тяжкий крест ошибок группы. «Козлы отпущения» выполняют важные психотерапевтические функции — они являются «громоотводом общества».

Таким образом, «козлы» не менее важны для успеха деятельности группы, чем лидеры. И вопиющей несправедливостью по отношению к «козлам отпущения» со стороны общества является непонимание и непризнание их заслуг, приписывание этих заслуг лидеру и его окружению.

Впрочем, обнадеживающим фактом является тенденция смягчения санкций, направляемых на «козлов». Исторические формы, в которые общество ставило «козлов отпущения», весьма многообразны, поэтому мы лишь вкратце коснемся их.

Феномен «козлов» уходит в столь глубокую древность, что он древнее самого человечества. Так, описывая стадо павианов, Н. Тих отмечает: «Если обезьяна в чем-нибудь провинилась перед вожаком, она нередко вместо подставления ему, вдруг начинает

грозить другой, ни в чем не повинной обезьяне. Любопытно при этом наблюдать полную растерянность жертвы неожиданного нападения (угрозы). Оглянувшись направо и налево, нередко разинув рот, она либо убегает и занимает безопасную позицию, либо кидается с громким криком под защиту вожака, поворачивая к нему свой зад. Интересно, что вожак, как правило, поддается на такую провокацию и сейчас же прекращает агрессию против истинного виновника конфликта. Иногда он переносит ее на ту обезьяну, которая стала объектом незаслуженного нападения, иногда просто отворачивается, демонстрируя отсутствие внимания»².

Само собой понятно, что фантазия людей в создании «козлов отпущения» гораздо богаче фантазии обезьян. Во всех первобытных и древних обществах мы находим множество различных разрядов людей, на которых переносились грехи общины или вождя в случае эпидемий, стихийных бедствий и прочих несчастных событий. Зачастую грехи общины переносились на животных. Общеизвестно, что сам термин «козел отпущения» происходит от обычая древних иудеев возлагать грехи общины на козла и выгонять его в пустыню. Что касается людей в роли «козлов отпущения», то такое символическое возложение грехов общины на них и последующее наказание «грешников» принимало у различных народов в различные времена более или менее жестокие формы — от осмеяния и изгнания до мучительной казни. Многочисленные примеры этих обычаев приводит Дж. Фрэзер в «Золотой ветви», к которой мы и отсылаем всех интересующихся. Здесь же мы ограничимся одним из наиболее ярких примеров.

Представители народности онитта на р. Нигер раз в год собирали деньги в общественную кассу для покупки двоих неизлечимо больных людей. Интересно, что лица, совершившие на протяжении года какие-либо преступления — поджоги, кражи, прелюбодеяния и т. п., — должны были внести в кассу большую сумму, чем лица, ни в чем не провинившиеся. На собранные же деньги нанимали и палача, который в определенный день обезглавливал купленные жертвы. Это событие служило для всех остальных сигналом к веселью, так как считалось, что все грехи, совершенные людьми за год, теперь перешли на казненных.

Фрэзер объясняет подобные обычаи следующим

образом: «Для ума первобытного человека характерно представление о том, что тяжесть собственных страданий и грехов можно переложить на другого. Это представление уходит своими корнями в смешение физического и духовного, материального и нематериального. Зная, что на плечи другого можно переложить вязанку хвороста, камни или что-нибудь в этом роде, первобытный человек воображает, что он может равным образом переложить на его плечи бремя своих тягот и страданий и заставить другого страдать вместо себя»³.

Необходимо отметить, что широко распространенные у древних народов обряды смерти и воскресения бога, а также сама идея человеко-бога, которого приносят в жертву на благо общины, имеет своей основой описанный выше механизм перенесения грехов общины на «козла отпущения». Пожалуй, наиболее яркую форму эта идея получила в христианстве. Ведь Христос есть не кто иной, как божественный «козел отпущения».

Вообще идея жертвенности, жертвы, приносимой ради успеха дела, — одна из основных идей религии. По-видимому, эта идея возникла у первобытных людей как отражение суровости и трудности их повседневной жизни. Любой, даже малейший успех в борьбе с окружающей средой дорого давался человеку. Он видел, что всякое успешное дело требует его пота, крови, а может быть, и самой жизни. На охоте, в борьбе с врагами, во времена голода и болезней гибли его соплеменники, и он понимал, что сам он живет отчасти ценой их смерти. Этот факт трансформировался в его сознании таким образом, что ему стало казаться: принеси община в жертву кого-либо из своих членов перед важным делом, и само это дело потребует меньших жертв. А еще лучше, если кто-либо из членов общины добровольно заложит себя в жертву во имя общего дела. Так родилась идея «козлов отпущения».

И хотя современные люди ведут борьбу с миром уже не в столь неблагоприятных условиях, как их далекие предки, идея жертвенности до сих пор властвует над умами многих из нас. Разве не убеждают со всех сторон современного человека многочисленные и весьма убедительные голоса в том, что он должен быть готов пострадать, потерпеть и даже погибнуть то ли ради могущества отечества, то ли ради чистоты ве-

ликих идей, то ли ради счастья будущих поколений? Разве не является идея жертвенности одной из излюбленнейших идей революционеров всех времен и народов? И разве, по трагической иронии, не является та же самая идея излюбленным лозунгом всевозможных тиранических и тоталитарных режимов? В общем, была бы великая цель, а «козлы отпущения» для нее найдутся.

Наконец, необходимо отметить еще одну историческую особенность «козлов». В этой роли могут выступать не только индивиды, но и различные социальные группы и даже классы. Ясно, что раб или крепостной практически в любом случае окажется виновным в грехах господина.

Но данное явление наблюдается не только в антагонистических обществах. Так, в начале перестройки мы были свидетелями усиленных попыток возложить вину за период застоя на ученых-обществоведов, и в особенности на философов.

Создание в массовых масштабах «козлов отпущения» для своих собственных ошибок было одним из любимых методов Сталина. Этот прием, пожалуй, единственное, в чем Сталин достиг высот подлинного мастерства. В настоящее время четко прослеживается тенденция самого Сталина сделать «козлом отпущения» социализма⁴.

Ниже нам хотелось бы расширить и углубить сказанное ранее о причинах возникновения и существования «козлов отпущения».

По мнению Р. Бейлса, положение индивида в группе определяется тремя параметрами: активностью, способностью к решению стоящих перед группой задач, привлекательностью для членов группы. Личность, сильная по всем трем показателям, занимает позицию лидера, а личность, слабая по всем трем показателям, — позицию «козла».

Необходимо подчеркнуть, что сами по себе эти показатели мало говорят о внутренних качествах личности. Пассивность, некомпетентность, непривлекательность данной личности может объясняться тем, что личность исповедует другие ценности, нежели группа. В группе, исповедующей те же ценности, что и данная личность, она могла бы стать лидером. Это находит выражение в том широкоизвестном факте, что лица, являющиеся «козлами отпущения» в одной группе, в то же время оказываются лидерами в

другой группе, и наоборот. Поэтому не может быть ничего ошибочнее мнения о том, что «козлы» — это люди по самой своей сущности глупые, ограниченные, инертные и необаятельные.

Для понимания сущности причин возникновения «козлов отпущения» в группах весьма интересно также мнение Ф. Фидлера о двух стилях лидерства: ориентации на задачу и ориентации на межличностные отношения. Ориентированный на задачу лидер более эффективен, когда ситуация либо очень благоприятна, либо крайне неблагоприятна для него, во всех же других случаях эффективнее лидер, ориентированный на отношения.

Здесь мы подходим к самой глубинной, на наш взгляд, основе механизма создания «козлов отпущения». Одним из фундаментальных свойств человеческой личности является *стремление к самоутверждению*. В той или иной мере оно присуще каждому индивиду. Существуют *два основных пути самоутверждения*: за счет успешного решения задач, стоящих перед группой, и за счет принижения других членов группы. Можно утвердить свое Я, преодолевая сопротивление окружающего мира, познавая его законы, изобретая технические механизмы, создавая произведения искусства. В этом случае человек возвышает себя, покоряя в той или иной форме окружающий его хаос вещей и явлений, смиряя звуки, краски, движения, стихии этого мира. Но возможен и другой путь: можно утвердить свое Я, преодолевая сопротивление окружающих членов группы — осмеивая, оскорбляя, избивая и убивая их, возлагая на них вину за свои собственные неудачи, натравливая на них своих подхалимов. В этом случае человек «возвышает» себя, покоряя в той или иной форме сознание, волю и чувства людей, разрушая и подавляя их самоуважение, манипулируя ими как неодушевленными предметами. Чем больше унизит такой человек другого, тем больше он самоутвердится.

Путь этот бывает соблазнителен для тех, кто не обладает ни интеллектом, ни творческими способностями, необходимыми для успешного познания окружающего мира, изобретения технических механизмов или художественного творчества. Но эти люди обладают такими социальными, психологическими или просто физическими особенностями, которые делают для них возможным унижение других членов группы.

Зачастую их действия в данном направлении провоцируются слабым сопротивлением со стороны других членов группы. Ведь человек устроен так, что, как правило, выбирает путь наименьшего сопротивления. Если оказывается, что, скажем, познавать мир гораздо труднее, чем унижать себе подобных, то большинство людей изберет именно последний путь самоутверждения.

Необходимо отметить, что зачастую чем более ориентирован на творчество тот или иной индивид, тем слабее его сопротивление другим членам группы и, следовательно, тем с большей вероятностью именно из него попытаются сделать «козла». Во многих классах ненавидят отличников. Общеизвестна ранимость поэтов и неприспособленность ученых. И это понятно: ведь индивид, ориентированный на творчество, отдает все свои духовные силы борьбе со словом, звуком, металлом, гармонизации стихийных сил, со всех сторон обступающих человека, и у него не остается энергии сопротивляться натиску нетворческих, но хитрых и коварных человеческих сил.

Особенно опасны и активны в деле создания «козлов отпущения» лидеры, которые когда-либо оказали значительные услуги группе, но творческие возможности которых иссякают на новом этапе общественного развития. Лидер, который в свое время успешно решил ряд стоявших перед группой задач, в случае проявления своей некомпетентности перед лицом новых задач, как правило, будет искать «козлов», на которых можно свалить свои ошибки. Весьма вероятно, что он постарается найти таких «козлов» среди людей, способных решить новые задачи, возникшие перед группой, и постарается наказать таких людей как можно суровее.

Иными словами, лидер, нарушающий предъявляемые ему экспектации, может избежать отрицательных санкций со стороны группы, найдя заместителя для этих санкций. Это и достигается обвинением другого человека в неудачном исполнении лидером своей роли. Причем может оказаться, что такой перенос вины выгоден не только лидеру, но и его окружению, и даже большинству членов общества (когда все они в той или иной мере не удовлетворяют экспектациям, «предъявляемым» обществу самой проблемой, стоящей перед ним). Таким образом, *«козел отпущения» — это универсальный объект для отрица-*

тельных санкций, выгодный большинству членов группы.

В связи с изложенным очевидна большая роль знаковых систем в возникновении феномена «козлов». Создание «козлов отпущения» есть частный случай знакового поведения. Как известно, знак есть некоторый чувственно воспринимаемый предмет, замещающий, представляющий другой предмет, явление, процесс, несущий информацию об этом предмете, явлении и т. д. Но таким «чувственно воспринимаемым предметом» может быть и сам человек. «Козел отпущения» есть своего рода знак или, если угодно, *символ вины общины*, символ неудач и ошибок лидера, последователей и других индивидов, обладающих высоким статусом в структуре группы. В связи с этим трудность выхода из роли «козла» получает дополнительное объяснение. Поскольку индивид, исполняющий эту роль, является символом групповой вины, группа не воспринимает его во всей многогранности его личностных черт и особенностей. Группа уже не способна объективно оценивать действительное содержание его поступков. «Значение» данного индивида всецело определяется его позицией в семиотической структуре группы.

Таким образом, механизм создания «козлов отпущения» есть механизм переноса вины с одних членов группы на других, своего рода метафоризации вины, и механизм этот был бы невозможен без знаковых отношений в обществе.

¹ Напр.: *Левитов Н. Д.* Теория ролей в психологии // *Вопр. психологии*. — 1969. — № 6; *Кричевский Р. Л.* Современные тенденции в исследовании лидерства в американской социальной психологии // *Вопр. психологии*. — 1977. — № 6; *Беляев Э. В., Шалин Д. Н.* К понятию «роль» в социологии // *Социальные исследования*. — М., 1971. — Вып. 7.

² *Тих Н. А.* Предыстория общества. — Л., 1970. — С. 232.

³ *Фрэзер Дж.* Золотая ветвь. — М., 1980. — С. 599.

⁴ Отметим, что речь идет отнюдь не о прекращении критики Сталина, а наоборот — о ее углублении. Необходима критика, показывающая связь Сталина с определенной *социальной системой*, свидетельствующая о том, в каком смысле он явился порождением этой системы.

ЛИТЕРАТУРА ПО ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СЕМИОТИКИ

- Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. — М. Сов. радио. — 272 с.
- Алферов В. И., Бородин Ф. М. Имитационные игры (лабораторный эксперимент) // Математическое моделирование в социологии. — Новосибирск: Наука, 1977. — С. 4—43.
- Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники: Ежегодник, 1984—1985. — М. Наука, 1986. — С. 80—160.
- Белнап Н., Стил Т. Логика вопросов и ответов. — М. Прогресс, 1981. — 288 с.
- Бенерджи Р. Теория решения задач. — М.: Мир, 1972. — 224 с.
- Беспалов Б. В. Действие: Психические механизмы визуального мышления. — М. Изд-во Моск. ун-та, 1984. — 189 с.
- Бирюков Б. В. Синтез знания и формализация // Синтез современного научного знания. — М.: Наука, 1973. — С. 447—474.
- Брудный Д. Л. Семантика языка и психология человека. — Фрунзе: Илим. — 236 с.
- Брунер Дж. Психология познания. — М. Прогресс, 1977. — 412 с.
- Брушлинский А. В. Психология мышления и кибернетика. — М. Мысль, 1970. — 191 с.
- Будбаева С. П., Пятницын Б. Н. К исследованию и построению прагматических логик // Философия и логика. — М. Наука, 1974. — С. 220—278.
- Валлон А. От действия к мысли: Очерки сравнительной психологии. — М.: Изд-во иностр. лит., 1956. — 238 с.
- Величковский Б. М. Современная когнитивная психология. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. — 336 с.
- Вергеймер М. Продуктивное мышление. — М. Прогресс, 1987. — 336 с.
- Волков П. П., Оксень В. Н. Информационное моделирование эмоциональных состояний. — М.: Высш. шк. 1976. — 127 с.
- Выготский Л. С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. — М. Педагогика, 1982. — Т. 2. — С. 5—361.
- Головаха Е. И., Кроник А. А. Психологическое время личности. — Киев: Наук. думка, 1984. — 207 с.
- Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. Функциональная структура действия. — М. Изд-во Моск. ун-та, 1982. — 208 с.
- IX Всесоюзный симпозиум по кибернетике. Тез. Т. 3. Целеполагание и модели поведения. — М.; Новосибирск: Наука, 1981. — 179 с.
- Дубровский Д. И. Проблема идеального. — М.: Мысль, 1983. — 228 с.

- Ефимов Е. И.* Решатели интеллектуальных задач. — М. Наука, 1982. — 316 с.
- Ефимов Е. Л.* Логика поведения целенаправленных систем // Пробл. управления и теория информации. — 1976. — № 3. — С. 247—261.
- Журавлев Г. Е.* Системные проблемы развития математической психологии. — М. Наука, 1983. — 288 с.
- Иванов В. В.* Очерки по истории семиотики в СССР. — М. Наука, 1976. — 303 с.
- Ивин А. А.* Основания логики оценок. — М. Изд-во Моск. ун-та, 1970. — 230 с.
- Ивин А. А.* Логика норм. — М. Изд-во Моск. ун-та, 1973. — 122 с.
- Ивин А. А.* Деонтическая логика, ценности, человеческое взаимодействие // Интенциональные логики и логическая структура теорий: Тез. докл. IV Сов.-фин. коллокви. по логике, май 1985. — Тбилиси: Мецниереба, 1985. — С. 66—67.
- Искусственный интеллект и психология.* — М. Наука, 1976. — 343 с.
- Исследование операций.* — М.: Наука, 1972. — 136 с.
- Исследование речевого мышления в психолингвистике.* — М.: Наука, 1985. — 239 с.
- Ишмуратов А. Т.* Логические теории временных контекстов. — Киев Наук. думка, 1981. — 150 с.
- Ишмуратов А. Т.* Математизация и логико-философский анализ // Гносеологический анализ математизации науки. — Киев Наук. думка, 1985. — С. 78—90.
- Ишмуратов А. Т.* Понимание, рациональность и формализация // Доказательство и понимание. — Киев: Наук. думка, 1986. — С. 216—243.
- Ишмуратов А. Т.* Логический анализ практических рассуждений (формализация психологических понятий). — Киев: Наук. думка, 1987. — 140 с.
- Ишмуратов А. Т.* Практические рассуждения и игровые модели // Рациональность, рассуждение, коммуникация (логико-гносеологический анализ). — Киев: Наук. думка, 1987. — С. 217.
- Келасьев В. Н.* Структурная модель мышления и проблемы генезиса психики. — Л. Изд-во Ленингр. ун-та. 1984. — 216 с.
- Кенгес — Маранда Э.* Логика загадок // Паремнологический сб. Пословица. Загадка (структура, смысл, текст). — М.: Наука, 1978. — С. 282—349.
- Когнитивная психология: Материалы финско-сов. симпоз.* — М. Наука, 1986. — 206 с.
- Козелецкий Ю.* Психологическая теория решений. — М.: Прогресс, 1979. — 504 с.
- Костюк В. Н.* Элементы модальной логики. — Киев: Наук. думка, 1978. — 179 с.
- Костюк В. Н.* Интенциональность и диалог как функции естественного языка // Философские основания научной теории. — Новосибирск: Наука, 1985. — С. 128—153.
- Котарбинский Т.* Вопросы рациональной организации деятельности // Избр. произв. — М. Изд-во иностр. лит-ры, 1963. — С. 773—888.
- Котарбинский Т.* Курс логики для юристов // Избр. произв. — М. Изд-во иностр. лит., 1963. — С. 607—772.

- Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. — М. Прогресс, 1977. — 261 с.
- Крылов В. Ю., Морозов Ю. И. Кибернетические модели и психология. — М.: Наука, 1984. — 174 с.
- Ладенко И. С. Предмет и значение прикладной логики // Методологические проблемы науки. — Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1978. — С. 80—87.
- Ладенко И. С. Логические методы построения математических моделей. — Новосибирск Наука, 1980. — 192 с.
- Ладенко И. С., Тульчинский Г. Л. Логика целевого управления. — Новосибирск Наука, 1986. — 207 с.
- Лакофф Дж. Прагматика в естественной логике // Нов. в зарубеж. лингвистике. — 1978. — Вып. 8, — С. 439—470.
- Леонтьев А. А. Знак // Философские проблемы психологии общения. — Фрунзе Илим, 1976. — 180 с.
- Ломов Б. Ф., Николаев В. И., Рубахин В. Ф. Некоторые вопросы применения математики в психологии // Психология и математика. — М.: Наука, 1976. — С. 6—43.
- Луков В. Б., Сергеев В. М. Опыт моделирования мышления исторических деятелей Отто фон Бисмарк, 1886—1876 гг. // Вопр. кибернетики. — 1983. — Вып. 95. — С. 148—161.
- Лурия А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов. — М. Наука, 1974. — 172 с.
- Лурия А. Р. Язык и сознание. — М. Изд-во Моск. ун-та, 1979. — 319 с.
- Льюс Р. Д., Райфа Х. Игры и решения. — М. Изд-во иностр. лит., 1961. — 642 с.
- Марголис Д. Личность и сознание: Перспективы нередуктивного материализма / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1986. — 420 с.
- Мартемьянов Ю. С., Дорофеев Г. В. Опыт терминологизации общелитературной лексики (о мире тщеславия по Ф. де Ларошфуко) // Вопр. кибернетики. — 1983. — Вып. 95. — С. 38—102.
- Миллер Д., Гапангер Ю., Прибрам К. Планы и структура поведения. М. Прогресс, 1965. — 238 с.
- Моделирование знаковой деятельности в интеллектуальных системах. — М. Наука, 1987. — 279 с.
- Найссер У. Познание и реальность. — М. Прогресс, 1981. — 230 с.
- Наппельбаум Э. Л., Поспелов Д. А. Субъективное структурирование ситуации в задачах коллективного принятия решений // Нормативные и дескриптивные модели принятия решений. — М.: Наука, 1981. — С. 191—2Р5.
- Новое в зарубежной лингвистике. — 1985. — Вып. 16. — 501 с.
- Новое в зарубежной лингвистике. — 1986. — Вып. 18. — 387 с.
- Новые направления в социологической теории. — М. Прогресс, 1978. — 391 с.
- Нормативные и дескриптивные модели принятия решений. — М. Наука, 1981. — 350 с.
- Обухова Л. Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против. — М. Изд-во Моск. ун-та, 1981. — 191 с.
- Поповян С. С. Математические методы в социальной психологии. — М.: Наука, 1983. — 343 с.
- Парахонский Б. А. Формы рациональности и коммуникативные отношения в культуре // Доказательство и понимание. — Киев Наук. думка, 1986. — С. 96—130.

- Парахонский Б. А.* Практические рассуждения в контексте коммуникации // Рациональность, рассуждение, коммуникация (лого-методологический анализ). — Киев Наук. думка, 1987. — С. 5—22.
- Парахонский Б. А.* Язык культуры и генезис знания. — Киев Наук. думка, 1988. — 211 с.
- Пиаже Ж.* Избранные психологические труды. М. Просвещение, 1969. — 659 с.
- Подгорецкая Н. А.* Изучение приемов логического мышления у взрослых. — М. Изд-во Моск. ун-та, 1980. — 149 с.
- Поляков И. В.* Знаковые системы в социальном взаимодействии и познании. — Новосибирск Наука, 1983. — 193 с.
- Пономарев Р. А.* Психология творчества. — М. Наука, 1976. — 303 с.
- Попов А. К.* Имитационные игры как модели социальных систем // Математические методы в социальном исследовании. — М. Наука, 1981. — С. 215—226.
- Поспелов Д. А.* О «человеческих» рассуждениях в интеллектуальных системах // Вопр. кибернетики. — 1983. — Вып. 95. — С. 5—37.
- Почепцов Г. Г.* Коммуникативные аспекты семантики. — Киев Изд-во Киев. ун-та, 1987. — 131 с.
- Психологические исследования познавательных процессов и личности.* — М. Наука, 1986. — 216 с.
- Психология и математика* Сб. ст. — М. Наука, 1976. — 295 с.
- Психология мышления.* — М. Прогресс, 1965. — 532 с.
- Райнио К.* Концептуальное представление процессов принятия решений и социального взаимодействия // Математика и социология: Моделирование и обработка информации. — М. Мир, 1977. — С. 443—467.
- Рафаэл Б.* Думающий компьютер. — М.: Мир, 1979. — 407 с.
- Рациональность и семиотика поведения* // Материалы науч. метод. сем. по пробл. логики, психологии и семиотики деятельности. — Киев ИФ АН УССР, 1988. — 57 с.
- Рациональность, рассуждение, коммуникация (лого-методологический анализ).* — Киев: Наук. думка, 1987 — 219 с.
- Резников Л. О.* Гносеологические вопросы семиотики. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1964. — 304 с.
- Рейзема Я. В.* Информационный анализ социальных процессов // Проблемы социологизации информатики. — М. Наука, 1982, — 199 с.
- Рибо Т.* Логика чувств. — Спб. Изд. О. Н. Поповой, 1906. — 193 с.
- Розенблют А., Винер Н., Бигелов Д.* Поведение, целенаправленность и телеология // Кибернетика. — М. Наука, 1983. — С. 297—307.
- Сааринен Е.* О метатеории и методологии семантики // Нов. в зарубеж. лингвистике. — 1986. — Вып. 18. — С. 121—138.
- Семантика, логика и интуиция в мыслительной деятельности человека* Психологические исследования. — М. Педагогика, 1979. — 184 с.
- Семантика модальных и интенциональных логик.* — М. Прогресс, 1981. — 424 с.
- Семиотика (семиотика языка и литературы).* — М. Радуга, 1983. — 636 с.
- Серль Дж., Вандервенен Д.* Основные понятия исчисления рече-

- вых актов // Нов. в зарубеж. лингвистике. — 1986. — Вып. 18. — С. 242—264.
- Симонов П. В.* Эмоциональный мозг. — М.: Наука, 1981. — 215 с.
- Слобин Д., Грин Дж.* Психоллингвистика. — М.: Прогресс, 1976. — 350 с.
- Сорокин Ю. А.* Психо-лингвистические аспекты изучения текста. — М.: Наука, 1985. — 168 с.
- Степанов Ю. С.* Семиотика. — М. Наука, 1971. — 168 с.
- Субботский Е. В.* Восприятие дошкольниками необычных явлений // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Психология, 1984. — № 1. — С. 17—31.
- Субботский Е. В.* Ребенок объясняет мир. — М. Знание, 1985. — 80 с.
- Тард Г.* Социальная логика. — Спб., 1901. — 491 с.
- Тихомиров О. К.* Психология мышления. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. — 270 с.
- Трусов В. П.* Социально-психологические исследования когнитивных процессов. — Л. Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. — 144 с.
- Тувльviste П.* Культурно-историческое развитие вербального мышления. — Таллин: Валгус, 1988. — 340 с.
- Туомела Р.* Человеческое действие и его объяснение: исследование по философским основаниям психологии // Материалы к VII международ. конгр. по логике, философии и методологии науки. — Сб. обзоров и реф. — М.: ИНИОН, 1983. — С. 206—215.
- Узнадзе Д. Н.* Психологические исследования. — М.: Наука, 1966. — 451 с.
- Фестингер Л.* Введение в теорию диссонанса // Современная зарубежная социальная психология. — М. Изд-во Моск. ун-та, 1984. — С. 97—110.
- Философия, логика, язык* Сб. переводов. — М.: Прогресс, 1987. — 331 с.
- Фрумкина Р. М.* Цвет: смысл, сходство: Аспекты психоллингвистического анализа. — М. Наука, 1984. — 175 с.
- Хабаров И. А.* Философские вопросы семиотики. — М. Выс. шк. 1978. — 159 с.
- Хареат Ф., Кучера Я.* К теории социальной зависимости // Математика в социологии: Моделирование и обработка информации. — М.: Мир, 1977. — С. 170—200.
- Чавчанидзе В. В.* Универсальная модель принятия решений концептуальным и эмоциональным интеллектом // Нормативные и дескриптивные модели принятия решений. — М. Наука, 1981. — С. 213—266.
- Чумаков Б. И.* Принципы нравственности на языке логики // Вестн. Моск. ун-та. Философия. — 1974. — № 5. — С. 62—70.
- Шенк Р.* Обработка концептуальной информации. — М.: Энергия, 1980. — 360 с.
- Шибутани Г.* Социальная психология. — М. Прогресс, 1969. — 535 с.
- Этнопсихоллингвистика.* — М.: Наука, 1988. — 193 с.
- Якобсон Р.* Избранные работы. — М.: Прогресс, 1985. — 455 с.

ЛИТЕРАТУРА ПО ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМИОТИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ

- Аверинцев С. С.* Греческая «литература» и ближневосточная «словесность»: Два творческих принципа // Типология и взаимосвязи литератур древнего мира. — М. Наука, 1971. — С. 206—266.
- Автономова Н. С.* Лакан: Возрождение или конец психоанализа // Бессознательное. Природа, функции, методы исследования: В 4 т. — Тбилиси: Мецниереба, 1985. — Т. 4. — С. 115—128.
- Антонова Е. В.* Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии: Опыт реконструкции мировосприятия. — М.: Наука, 1984. — 262 с.
- Ауэрбах Э.* Мимезис: Изображение действительности в западно-европейской литературе. — М. Прогресс, 1976. — 558 с.
- Байбурин А. К.* К описанию структуры славянского строительного ритуала // Текст. Семантика и структура. — М. Наука, 1983. — С. 206—227.
- Барт Р.* Основы семиологии // Структурализм: «за» и «против». — М. Прогресс, 1975. — С. 114—163.
- Бассин Ф. В.* У пределов распознанного и проблема предречевой формы мышления // Бессознательное: Природа, функции, методы исследования: В 4 т. — Тбилиси: Мецниереба, 1978. — Т. 3. — С. 735—750.
- Бахтин М. М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М. Худ. лит., 1965. — 527 с.
- Бахтин М. М.* Вопросы литературы и эстетики: Исслед. разных лет. — М.: Худ. лит., 1975. — 302 с.
- Бахтин М. М.* К философии поступка // Философия и социология науки и техники: Ежегодник, 1984—1985. — М. Наука, 1986. — С. 80—160.
- Белый А.* Символизм. — М.: Мусaget, 1910. — 635 с.
- Блумер Г.* Общество как символическая интеракция // Современная зарубежная социальная психология. Тексты. — М. Изд-во Моск. ун-та, 1984. — С. 173—179.
- Борев В. Ю.* Культура и коммуникация // Диалектика культуры. — Куйбышев: Куйбышев. ун-т, 1982. — С. 87—90.
- Булатов М. А.* Диалектика и культура: Ист.-филос. анализ. — Киев: Наук. думка, 1984. — 216 с.
- Васильева Т. В.* Дельфийский оракул о мудрости Сократа, превосходящей мудрость Софокла и Еврипида // Культура и искусство античного мира. — М.: Искусство, 1980. — С. 281—295.
- Веселовский А. Н.* Миф и символ // Русский фольклор. Вопр. теории фольклора. — 1979. — Вып. 19. — С. 186—199.

- Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат. — М. Изд-во иностр. лит., 1958. — 133 с.
- Витгенштейн Л.* О достоверности // *Вопр. философии.* — 1984. — № 8. — С. 142—149.
- Волошинов В. Н.* Марксизм и философия языка. — Л. Прибой, 1929. — 188 с.
- Вольская Н. С.* Семиотика древнегреческого мифа // *Вопр. философии.* — 1972. — № 4. — С. 115—126.
- Выготский Л. С.* Психология искусства. — М. Искусство, 1986. — 673 с.
- Гайденко П. П.* Человек и история в свете «философии коммуникации» К. Ясперса // *Человек и его бытие как проблема современной философии : Крит. анализ некоторых бурж. концепций.* — М. : Наука, 1978. — С. 97—134.
- Гамкрелидзе Т. В.* Бессознательное и проблема структурного изоморфизма между генетическими и лингвистическими кодами // *Бессознательное Природа, функции, методы исследования: В 4 т.* — Тбилиси : Мецниереба, 1985. — Т. 4. — С. 261—264.
- Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Индоевропейский язык и индоевропейцы Реконструкция и ист.-типол. анализ праязыка и протокультуры : В 2 кн. — Тбилиси Изд-во Тбилис. ун-та, 1984. — Кн. 1—2.
- Глазычев В. Л.* Античная система расселения : Переживание Ойкумены // *Культура и искусство античного мира.* — М. Искусство, 1980. — С. 165—182.
- Гоффман Э.* Представление себя другим // *Современная зарубежная социальная психология.* — М. Изд-во Моск. ун-та, 1984. — С. 188—196.
- Григорьян Б. Т.* Философия как способ практически-духовного освоения мира // *Философия и ценностные формы сознания.* — М. Наука, 1978. — С. 3—22.
- Григорьян Б. Т.* Философская антропология : Крит. очерки. — М. Мысль, 1982. — 188 с.
- Гумбольдт В.* Избранные труды по языкознанию. — М. : Прогресс, 1984. — 397 с.
- Гумбольдт В.* Язык и философия культуры. — М. Прогресс, 1985. — 452 с.
- Гуревич А. Я.* Категория средневековой культуры. — М. Искусство, 1973. — 319 с.
- Гуревич А. Я.* Проблемы средневековой народной культуры. — М. : Гусев В. Е. Наука и метафора. — Л. Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. — 152 с.
- Гусев В. Е.* Формы общения в народном творчестве // *Искусство и общение.* — Л. Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. — С. 136—141.
- Данилова И. Е.* Образ природы в древнегреческой вазе // *Культура и искусство античного мира.* — М. Искусство, 1980. — 30—40.
- Деглин В. А., Балонов Л. Я., Долина И. Б.* Язык и функциональная асимметрия мозга // *Тр. по знак. системам.* — 1983. — Вып. 16. — С. 31—42.
- Дридзе Т. М.* Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации *Пробл. семиосоциопсихол.* — М. Наука, 1984. — 268 с.
- Дубровский Д. И.* Проблема идеального. — М. Мысль, 1983. — 228 с.
- Дубровский Д. И.* Субъективная реальность ее онтологический статус и специфика как объекта научного исследования //

- Принцип социальной памяти : Социальная детерминация познания. — Тарту : Изд-во Тарт. ун-та, 1984. — С. 20—28 (Уч. зап. Тарт. ун-та — Вып. 695).
- Дэвидсон Б.* Африканцы : Введение в историю культуры. — М. Наука 1975. — 280 с.
- Иванов Вяч. Вс.* Из заметок о строении и функциях карнавального обряда // Проблемы поэтики и истории литературы. — Саранск : Саранск. пед. ин-т, 1973. — С. 37—53.
- Иванов Вяч. Вс.* Происхождение семантического поля славянских слов, обозначающих дар и обмен // Славянское и балканское языкознание. — М. Наука, 1975. — С. 50—78.
- Иванов Вяч. Вс.* Очерки по истории семиотики в СССР. — М. Наука, 1976. — 303 с.
- Иванов Вяч. Вс.* Чет и нечет : Асимметрия мозга и знаковых систем. — М. Сов. радио, 1978. — 184 с.
- Иванов Вяч. Вс.* Об эволюционном подходе к культуре // Тынянов. сб. — Зинатне, 1986. — Вып. 2. — С. 173—191.
- Каган М. С.* Искусство и общение // Искусство и общение. — Л. Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. — С. 15—36.
- Карашавили Р. Г.* Функция персонажа как «фигуры» бессознательного в творчестве Германа Гессе // Бессознательное : Природа, функции, методы исследования : В 4 т. — Тбилиси : Мецниереба, 1978. — Т. 3. — С. 529—536.
- Келемен Я.* Текст и значение // Семиотика и художественное творчество. — М. : Наука, 1977. — С. 104—124.
- Кейпер Ф. Б. Я.* Труды по ведийской мифологии. — М. Наука, 1986. — 196 с.
- Кликс Ф.* Пробуждающееся мышление У истоков человеческого интеллекта. — М. Прогресс, 1983. — 302 с.
- Кон И. С.* В поисках себя : Личность и ее самосознание. — М. Политиздат, 1984. — 335 с.
- Лавров А. В.* Мифотворчество «аргонавтов» // Миф — фольклор — литература. — Л. : Наука, 1978. — С. 137—170.
- Левада Ю. А.* Историческое сознание и научный метод // Философские проблемы исторической науки. — М. Наука, 1969. — С. 186—244.
- Левада Ю. А.* О построении модели репродуктивной системы Пробл. категориал. аппарата // Системные исследования. Методол. пробл. Ежегодник, 1979. — М. : Наука, 1980. — С. 180—209.
- Леви-Стросс К.* Миф, ритуал и генетика // Природа. — 1978. — № 1. — С. 90—105.
- Леви-Стросс К.* Структурная антропология. — М. Наука, 1983. — 220 с.
- Леклер С.* Бессознательное Иная логика // Бессознательное Природа, функции, методы исследования : В 4 т. — Тбилиси Мецниереба, 1978. — Т. 3. — С. 260—269.
- Ломидзе Г. А.* Общая теория фундаментальных отношений личности и некоторые особенности художественного творчества // Бессознательное : Природа, функции, методы исследования : В 4 т. — Тбилиси : Мецниереба, 1978. — Т. 2. — С. 505—511.
- Лотман Ю. М.* О моделях коммуникации и их соотношении в общей системе культуры // Тр. по знак. системам. — 1965. — С. 158—171.
- Лотман Ю. М.* О понятии графического пространства в русских средневековых текстах // Там же. — 1965. — Вып. 2. — С. 204—212.

- Лотман Ю. М. О метаязыке типологических описаний культуры // Там же. — 1969. — Вып. 4. — С. 461—471.
- Лотман Ю. М. Структура художественного текста. — М. Искусство, 1970. — 384 с.
- Лотман Ю. М. Асимметрия и диалог // Тр. по знак. системам. — 1983. — Вып. 16. — С. 15—30.
- Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Новые аспекты изучения культуры Древней Руси // Вопр. лит. — 1977. — № 3. — С. 148—166.
- Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука (логико-гносеологический анализ). — М.: Мысль, 1983. — 284 с.
- Маслиева О. В. Становление категории причинности На материале истории языка. — Л.: Наука, 1980. — 105 с.
- Мегрелидзе К. Р. Основные проблемы социологии мышления. — Тбилиси Мецниереба, 1973. — 430 с.
- Менз К. Семантические проблемы лингвистического исследования коммуникации // Психолингвистические проблемы семантики. — М.: Наука, 1983. — С. 221—236.
- Минский М. Структуры для представления знания // Психология машинного зрения. — М.: Мир, 1978. — С. 249—338.
- Моррис Ч. У. Основная теория знаков // Семиотика. — М. Радуга, 1983. — С. 37—89.
- Мукаржовский Я. Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве // Структурализм: «за» и «против». — М. Прогресс, 1975. — С. 164—192.
- Мукаржовский Я. Эстетическая функция, норма и ценность как социальные факты // Тр. по знак. системам. — 1975. — Вып. 7 — С. 243—295.
- Мукаржовский Я. Статьи о кино // Там же. — 1981. — Вып. 13. — С. 98—115.
- Налимов В. В. Вероятностная модель языков. — М. Наука, 1979. — 303 с.
- Оппенгейм А. Л. Древняя Месопотамия: Портрет погибшей цивилизации. — М.: Наука, 1980. — 407 с.
- Парахонский Б. А. Стиль мышления: Филос. аспекты анализа стиля в сфере языка, культуры и познания. — Киев Наук. думка, 1982. — 119 с.
- Парахонский Б. А. Семантика коммуникативных связей в «Слове о полку Игореве» // Филос. думка. — 1986. — № 4. — С. 73—82.
- Парахонский Б. А. Формы рациональности и коммуникативные отношения в культуре // Доказательство и понимание. — Киев Наук. думка, 1986. — С. 96—130.
- Петров М. К. Язык и категориальные структуры // Науковедение и история культуры. — Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1973. — С. 58—82.
- Псляков И. В. Знаковые системы в социальном взаимодействии и познании. — Новосибирск: Наука, 1983. — 193 с.
- Попович М. В. Философские вопросы семантики. — Киев Наук. думка, 1975. — 299 с.
- Попович М. В. Мироззрение древних славян. — Киев Наук. думка, 1985. — 167 с.
- Постовалова В. И. Язык и деятельность: Опыт интерпретации концепции В. Гумбольдта. — М.: Наука, 1982. — 222 с.
- Потебня А. А. Эстетика и поэтика. — М.: Искусство, 1976. — 614 с.

- Пропп В. Я.* Фольклор и действительность : Избр. ст. — М. : Наука, 1976. — 326 с.
- Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. — Л. Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. — 365 с.
- Пятигорский А. М.* «Знание» как «знак» личности в духовной культуре древней Индии // Тр. по востоковед. — 1973. — Вып. 2. — С. 216—264.
- Раевский Д. С.* Очерки идеологии скифо-сарматских племен : Опыт реконструкции скифского миропонимания. — М. Наука, 1977. — 216 с.
- Раевский Д. С.* Модель мира скифской культуры Пробл. мировоззрения ираноязыч. народов евразий. степей I тыс. до н. э. — М. : Наука, 1985. — 256 с.
- Роузентал Ф.* Торжество знания : Концепция знания в средневековом исламе. — М. Наука, 1978. — 372 с.
- Симон Ж.* Культурная личность разума : Пример Каплера // Разум и культура : Тр. Междунар. фр.-сов. коллоквиум. — М. Изд-во Моск. ун-та, 1983. — С. 15—26.
- Сорокин Ю. А.* Психо-лингвистические аспекты изучения текста. — М. : Наука, 1985. — 168 с.
- Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. — М. Прогресс, 1977. — 695 с.
- Стеблин-Каменский М.* Мир саги Становление лит. — Л. Наука, 1984. — 246 с.
- Степанов Ю. О.* В трехмерном пространстве языка Семиот. пробл. лингвистики, философии, искусства. — М. Наука, 1985. — 335 с.
- Столин В. В.* Самосознание личности. — М. Изд-во Моск. ун-та, 1983. — 286 с.
- Тавризян Г. М.* Наука и миф в морфологии культуры О. Шпенглера // Вопр. философии. — 1984. — № 8. — С. 103—116.
- Тимофеева Н. К.* Религиозно-мифологическая картина мира этрусков. — Новосибирск Наука, 1980. — 112 с.
- Тодоров Цв.* Семиотика литературы // Семиотика. — М. Радуга, 1983. — С. 350—369.
- Топоров В. Н.* К происхождению некоторых поэтических символов (палеотическая эпоха) // Ранние формы искусства. — М. : Искусство, 1972. — С. 78—98.
- Топоров В. Н.* О космологических источниках раннеисторических описаний // Тр. по знак. системам. — 1973. — Вып. 6.
- Топоров В. Н.* Первобытные представления о мире (общ. взгляд) // Очерки истории естественных наук и знаний в древности. — М. : Наука, 1982. — С. 8—40.
- Топоров В. Н.* Пространство и текст // Текст: семантика и структура — М. : Наука, 1983. — С. 227—284.
- Трубецкой Н. С.* «Хождение за три моря» Афанасия Никитина как литературный памятник // Семиотика. — М. Радуга, 1983. — С. 437—461.
- Тульчинский Г. Л.* Проблема осмысления действительности : Логико-филос. анализ. — Л. Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. — 177 с.
- Тынянов Ю. Н.* Поэтика. История литературы. Кино. — М. Наука, 1977. — 574 с.
- Тэрнер В.* Символ и ритуал. — М. : Наука, 1983. — 227 с.
- Успенский Б. А.* Поэтика композиции. — М. Наука, Искусство, 1970. — 225 с.
- Успенский Б. А.* Филологические разыскания в области славян-

- ских древностей: Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского. — М. Изд-во Моск. ун-та, 1982. — 245 с.
- Успенский Б. А.* Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. — М. Изд-во Моск. ун-та, 1983. — 144 с.
- Федоришин М. С.* Диалог мировоззрений // Человек и мир в японской культуре. — М. Наука, 1985. — С. 247—257
- Флоренский П.* Обратная перспектива // Тр. по знак. системам. — 1967. — Вып. 3. — С. 383—413.
- Франкфорт Г.* и др. В преддверии философии Духов. искания древ. человека. — М.: Наука, 1984. — 236 с.
- Фрейдэнберг О. М.* Поэтика сюжета и жанра Период антич. лит. — Л.: Изд-во худ. лит., 1936. — 454 с.
- Фрейдэнберг О. М.* Миф и литература древности. — М. Наука, 1978. — 605 с.
- Фромм Э.* Иметь или быть. — М.: Прогресс, 1986. — 238 с.
- Фуко М.* Слова и вещи: Археология гуманитар. наук. — М. Прогресс, 1977. — 488 с.
- Цанкин В. Н.* Семиотический подход к системе бессознательного // Бессознательное: Проблемы, функции, методы исследования: В 4 т. — Тбилиси: Мецниереба, 1985. — Т. 4. — С. 265—276.
- Цивьян Т. В.* Мифологическое программирование жизни // Этические стереотипы поведения. — М.: Наука, 1985. — С. 154—178.
- Чавчавадзе Н. З.* Культура и ценности. — Тбилиси: Мецниереба, 1984. — 171 с.
- Шерозия А. Е.* Сознание, бессознательное, психическое и система фундаментальных отношений личности: Предпосылки общей теории // Бессознательное: Проблемы, функции и методы исследования: В 4 т. — Тбилиси: Мецниереба, 1978. — Т. 3. — С. 351—389.
- Шерозия А. Е.* Психика, сознание, бессознательное: К обобщен. теории психологии. — Тбилиси Мецниереба, 1979. — 171 с.
- Шинкарук В. И., Яценко А. И.* Гуманизм диалектико-материалистического мировоззрения. — Киев Политиздат, 1984. — 255 с.
- Шлегель Ф.* Эстетика, философия, критика В 2 т. — М. Искусство, 1983. — Т. 2. — 447 с.
- Шпет Г.* Внутренняя форма слова Этюды и вариации на темы Гумбольдта. — М. Гос. акад. худ. наук, 1927. — 219 с.
- Штал И. В.* Художественный мир гомеровского эпоса. — М. Наука, 1983. — 296 с.
- Эйкен Г.* История и система средневекового мирозерцания. — Спб.: Типогр. М. И. Акинфеева, 1907. — 732 с.
- Юнг К.* Аналитическая психология // История зарубежной психологии, 30—60-е гг. XX в. Тексты. — М. Изд-во Моск. ун-та, 1986. — С. 142—172.
- Якобсон Р.* Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». — М. Прогресс, 1975. — С. 193—230.
- Якобсон Р.* К языковедческой проблематике сознания и бессознательного // Бессознательное: Проблемы, функции, методы исследования: В 4 т. — Тбилиси.: Мецниереба, 1978. — Т. 3. — С. 156—167.
- Якобсон Р.* Избранные работы. — М. Прогресс, 1985. — 455 с.

Библиографический список подготовила Е. А. Замятина

СОДЕРЖАНИЕ

Введение (Парахонский Б. А.)	3
Часть I. Логическое моделирование психики	8
1. Логика и действие: практичны ли практические рассуждения? (Тульчинский Г. Л.)	8
2. Психология познания и эпистемическая логика (Герасимова И. А.)	20
3. Установка как функция (Гелашвили М. А.)	28
4. Существование как психологическая проблема (Субботский Е. В.)	36
5. Человек и мир: логика жизненных отношений (Леонтьев Д. А.)	47
Часть II. Семиотический анализ психических явлений	59
1. Семиотический субъект и субъект познания (Парахонский Б. А.)	59
2. Третий собеседник (Гусев С. С.)	70
3. «Тройное означивание» в структуре семиотического процесса (Почепцов Г. Г., мл.)	81
4. Взаимодополнительность символа и метафоры как психолого-семиотическая проблема (Мейзерский В. М.)	100
5. Архетипы и категории предельных оснований (Кириллюк А. С.)	109
6. Психосемиотический анализ шаманского ритуала (Замятина Е. А.)	119
7. Слухи как семиотический феномен (Почепцов Г. Г., мл.)	131
8. Семиотические механизмы переноса вины в группе (Еременко А. М.)	140
Литература по проблеме взаимодействия логики, психологии и семиотики	149
Литература по проблеме взаимодействия семиотики, психологии и теории культуры	154